Карина Седова

ШАЙМАРР

Дрэммар • Ирмаун • Орра



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

Карина Седова

«Шаймарр. Том 1. Дрэммар»

«Автор»
2026

Седова К.

«Шаймарр. Том 1. Дрэммар» / К. Седова — «Автор», 2026

Шаймарр — роман в трех томах. Данный электронный том содержит Часть 1: Дрэммар , где первые 15 глав бесплатно.В Ирмауне никого не хоронят уже сто сорок лет. Здесь ничто не заканчивается само. Отрезанная рука живёт, ползёт к теплу и видит сны, и по ночам кто-то должен подбирать такие руки с улиц.Тавьер Ним делает это с шести лет. Он ставит их в банки, даёт им имена и ни одной не выбрасывает. Дома его ждёт мать, которая двадцать лет не может лечь и считает вдохи вслух, чтобы не забыть, как дышать. Её очередь на конец подойдёт через две тысячи лет.Обогнать очередь можно только одним способом. Девять дней, девять ярусов вниз, в бездну, которая дышит. Спуск называется Гуррэн. Каждый ярус берёт своё. Но спуск закончится раньше, чем книга.Жуйте медленно. У неё кости.Выдано Российской книжной палатой (Национальным агентством ISBN)Издательство: СЕДОВА КАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. ISBN 978-5-600-05617-6Все права защищены. Любое копирование текста преследуется по закону.

© Седова К., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Из книги Ратха 5
1. Сны спящих щенков 7
2. Годовые кольца серой зимы 15
3. Чаша полной тишины 23
4. Один медяк на вдовью песню 31
5. Бесшумное перо старшей ратхины 35
6. Запах сорока детств 42
7. Тридцать серебряных ложечек 49
8. Правило Синего двора 57
9. Последнее слово в тёмной кухне 66
10. Рыба, скорченная у колодца 73
11. Коробочка с пеплом от точек 81
12. Мелодия из глубокой люльки 84
13. Овация из невидимой синевы 90
14. Недостача вэрницы Фро 100
15. Серьга в прозрачной стене 107
1 113
Конец ознакомительного фрагмента. 114

Карина Седова
«Шаймарр. Том 1. Дрэммар»

Из книги Ратха

Год первый. Закончилось: никто. Родилось: никто.
Год второй. Закончилось: никто. Родилось: никто.
Год третий. Закончилось: никто. Родилось: никто.
Последняя запись в книге сделана рукой, которой ещё не существует.
Она не закончена.



1. Сны спящих щенков

В Ирмауне никого не хоронят уже сто сорок лет, и поэтому по ночам кто-то должен подбирать с улиц руки.

Тавьер Ним подбирал их с шести лет. Он выходил, когда на нижних террасах гасили последние лампы, а наверху, в Иммарре, ещё играла музыка и белые дома Салварр, Тэнгорр и Веш висели над Тэмхой, освещённые изнутри, как бумажные фонари над грязной водой. Брал мешок из толстой шерсти, подбитый овчиной, чтобы внутри было тепло, фонарь с закопчённым стеклом и длинные железные щипцы, которыми никогда не пользовался, и шёл туда, где шуршало.

Шуршало везде. Днём этот звук тонул в голосах, в стуке вальков у красилен, в скрипе тележек, на которых родня вывозила стариков погреться на солнце. Ночью он поднимался из водостоков, из-под крылец, из щелей мостовой, и если постоять, в нём различались отдельные голоса: скрип ногтя по камню, шлепок ладони о лужу, сухое птичье постукивание пальцев. Крэнна ползла к теплу. Руки, отпавшие от хозяев, ступни, пальцы, уши. Однажды язык: три ночи подряд он полз вверх по Красильному спуску, оставляя на камнях влажную полосу, и всё пытался что-то выговорить. Ничто из этого не умирало, как не умирает в Ирмауне ничто, раз начавшее жить. Оно остывало, находило стену потеплее, сбивалось в пучки, похожие на спящих щенков, и, должно быть, видело сны.

Что им снится, Тавьер не знал. Вурха Тенн говорила, что им снится, будто их ещё не отрезали. Вурха говорила много чего, и половину нельзя было повторить при матери.

Он шёл по нижней Тэмхе вдоль стен, и фонарь выхватывал из темноты то одно крыльцо, то другое. На крыльце красильщика Обба сидел сам красильщик, вернее, то, что от него поднималось над ступенями: грудь, голова, одна рука. Всё, что ниже пояса, лет сорок назад ушло в камень, и ступени в этом месте были тёплыми и чуть вздымались, когда он дышал. Он спал с открытыми глазами. Белки у него за девяносто лет у чанов посинели, и в темноте глаза светились слабо, по-рыбьи. Рядом стояла миска под тряпкой: утром придёт кэйна Тумма, оботрёт его, накормит с ложки и расскажет, кто вчера с кем подрался у прачечной. Тавьер кивнул ему. Пальцы на колене шевельнулись: «И тебе».

Воздух пах лаххом. Его жгли на ночь в глиняных блюдцах на подоконниках, и сладкий, чуть подгоревший смоляной дух лежал над Тэмхой одеялом, под которым город пытался уснуть. Под лаххом был другой запах. Тавьер замечал его, только возвращаясь с реки, с холодного воздуха: тёплый, молочный, немного мясной запах тел, которые не перестают расти. Так пахнет у шеи младенца, если младенцу сто пятьдесят лет.

На углу Красильного спуска, в водостоке, он нашёл первую за ночь. Правая, мужская, широкая, с мозолью от весла поперёк ладони. Она лежала тыльной стороной вверх и мелко дрожала. Тавьер присел, поставил фонарь и подышал себе в ладони, пока они не согрелись. Подносить ладонь к ладони нужно медленно. Это было первое, чему его научили, и единственное правило, которое он никогда не нарушал. Чужая рука почуяла тепло, перестала дрожать и, подумав, переползла к нему на пальцы, тяжёлая, холодная, со свалявшимися волосками на запястье. В мешке она сразу затихла.

— Гребец, — сказал он вслух. — Будешь Гребец.

Имена он давал с шести лет. Сначала потому, что так было не страшно, потом потому, что удобнее, а потом уже просто давал.

Улица Харров была короткой, кривой и всегда мокрой: на ней стояли три прачечные, и вода из-под них текла по мостовой круглый год, тёплая, мыльная, с пеной у порогов. Крэнна любила Харров за это тепло. У водостока напротив второй прачечной опять лежала левая рука, женская, узкая, с обручальным кольцом, в которое за много лет вросла кожа: кольцо ушло в

палец целиком и просвечивало сквозь него тусклым ободком. Рука выводила указательным пальцем на мокром камне один и тот же знак. Длинная петля вниз, короткая вверх, крючок, точка. Вода смывала знак сразу. Рука писала снова, нажимая так, что ноготь белел.

Тавьер видел её здесь третью ночь подряд. Знак был похож на «прости». Не на слово целиком, а на то, как его пишут люди, которые боятся не успеть.

Он сел рядом на корточки. Её можно было взять: левые никогда не сопротивляются, это знает любой крэннер. Отнести домой, поставить в банку, дать имя. Он подышал на ладони и поднёс руку. Рука на камне замерла, приподняла пальцы и подержала их на весу, пробуя его тепло. Потом опустила и начала с начала: петля, крючок, точка. Рука помнит жест дольше, чем хозяин помнит своё имя.



Он не стал её брать. Не из жалости. Просто это была единственная вещь в квартале, которая всё ещё чего-то хотела, и ставить её на полку ему не хотелось.

Сначала был слышен голос, потом скрип колёс, и только потом из-за угла выкатилась сама Вурха Тенн.

— Ты чего над ней сидишь, как вдовец над пирогом? — сказала она на всю улицу. — Бери или не бери. Она тебе не невеста, сватать не надо.

Вурха ездила на низкой тележке с железными колёсами и толкала её сама, упираясь в мостовую двумя руками в кожаных накладках. Ходить она перестала лет сто назад: рёбра срослись в одну сплошную корку, грудь стала бочкой, обтянутой корой, и согнуться она не могла ни в какую сторону. Зато рук у неё было пять. Две свои, жилистые, коричневые. Третья выросла сама, лет восемьдесят назад, из плохо сросшегося перелома под левой лопаткой, и так и осталась маленькой, детской; ею Вурха чесала спину и показывала дорогу. Ещё две были чужие, пришитые у плеч грубыми ваймерскими стежками. Правую ей отдал за долг игрок в кости с ярмарки, честно, при свидетелях, и рука до сих пор, если её не занять, катала по колену что-нибудь круглое. Левая досталась от возчика, который так и не заплатил за мешок товара, и с этой рукой Вурха была в ссоре шестьдесят лет. Рука всё время показывала неприличный жест. Вурха утверждала, что это возчик передаёт привет.

— Чья она? — спросил Тавьер, не вставая.

— А тебе зачем?

— Узнать.

— Узнаешь, будешь носить ей за ворот раз в неделю и слушать, какой ты добрый. — Вурха подкатила ближе и долго смотрела на руку сверху. Маленькая третья почесала ей затылок. — Не знаю. Не нашенская. С верхних, может. Кольцо дорогое. Оставь. Захочет, сама приползёт куда надо.

— Куда?

— Куда надо, — сказала Вурха, и чужая левая показала ему то, что показывала всем.

Дальше пошли вместе: Вурха громыхала впереди, Тавьер шёл рядом с мешком. По пути она подобрала два пальца с подоконника, ухо из-под лавки сапожника и очень старую ступню, обросшую мозолями до копыта, и всё рассовала по ящикам на тележке, ругаясь на каждую находку. Так она учила его семнадцать лет: не уроками, а руганью. Взяла в ученики, когда ему было шесть, потому что он стоял у прачечной матери, тощий, как черенок от метлы, и смотрел на крэнну, а не прятался. «Жалко стало, — объясняла она потом. — Думаю, хоть мяса нарастишь на моей каше». Мяса он так и не нарастил.

У конца Харров улица обрывалась краем террасы, и за низким парапетом начинался жёлоб: широкий каменный лоток, уходивший по склону вниз, к ярмарочной площади и дальше, туда, где воронка проваливалась в шахту. По жёлобу город отправлял вниз то, что не знал, куда деть. Утром спускали мешки из лечебниц Иммарра, ночью ленивые крэннеры вытряхивали добычу, чтобы не таскать до ваймеров. Ссыпанное шуршало, цеплялось за камень и пропадало из виду.

У жёлоба стоял мальчишка лет пятнадцати, найр, с новеньким крэннерским мешком, ещё пахнущим кожевней, и развязывал горловину. Мешок шевелился во все стороны.

— Пэтт, — сказала Вурха негромко. Тавьер знал этот тон. Пэтт не знал. — Ты что делаешь, Пэтт?

— Тётка Вурха, там одни пальцы. Ваймеры пальцы не берут. Куда я их?

— Куда ты их.

— Ну.

Вурха подкатила вплотную. Чужая правая, рука игрока, выпустила камешек и легла мальчику на запястье, мягко и неотвратимо, как ложится на стол выигрыш.

— Ты туда посмотри, — сказала Вурха.

Пэтт посмотрел. Тавьер тоже посмотрел, хотя видел это каждую ночь.

За ярмарочной площадью, где светились жаровни вэрников и сидели у самого края нахохленные мэйруки, начиналась темнота. Не ночная, к которой привыкают глаза. Эта глазам не уступала. Она была круглой, шире всей Тэмхи, и из неё поднимался тёплый воздух: выдох,

долгая пауза, снова выдох. Никто не знал, какой глубины Дрэммар. Говорили, что первые, кто пробовал измерить, три дня опускали верёвку, связанную из всех верёвок города, а на третий день верёвка натянулась, и кто-то внизу вежливо потянул её обратно.

— Всё, что туда скинули, — сказала Вурха, — там и есть. Сто сорок лет кидают. Руки, ноги, бабкины пальцы, дедовы уши. Кидают и думают: всё, нету. А оно там, Пэтт. Лежит, растёт и помнит, кто его кинул. И ты своих туда же. Чтобы не таскать.

— Так а куда ж…

— Ничего не выбрасывай, — сказала Вурха Тенн. — Выбрасывали до нас.

Она убрала руку. Пэтт стоял красный, прижимая мешок к животу. Мешок шевелился.

— Неси к Борро, — сказала Вурха уже обычным голосом. — Он пальцы к котлу берёт: они там греются и лахх ему мешают, вроде мешалки. Дурное дело, но лучше, чем вниз. И не реви, я на тебя ещё не орала.

Пэтт ушёл. Вурха посмотрела ему вслед, потом на Тавьера.

— Ты в его годы ревел больше.

— Я не ревел.

— Ревел. Над первой своей, помнишь? Над детской. Ревел и не отдавал. Три дня носил за пазухой, пока мать не пришла.

Тавьер помнил. Он ничего не ответил, только поправил ворот, хотя ворот лежал как надо. Эту его привычку Вурха никогда не высмеивала: левой рукой он то и дело проверял, застёгнута ли рубаха на плече. Под тканью было пятно с ладонь величиной, шершавое, тёмное, тёплое на ощупь. Кора. Ему было двадцать три, он был найром, а на найрах кора только начинает проступать, по пятнышку в несколько лет. Его пятно появилось в шестнадцать. С тех пор он не снимал рубахи ни при ком.

— Мэвва как? — спросила Вурха.

— Считает.

— Пусть считает. Кто считает, тот при деле. — Вурха проскребла мостовую железным колесом, разворачиваясь. — Домой иди. У вас там гуляют, слышал? У Таммов.

— Слышал.

— Старый Сэллех завтра уходит. Повезло хрычу. — Она сплюнула через парапет, в жёлоб. — Лёгкого ему тарха. Скажи, что я сказала. И скажи, что он мне до сих пор должен за ту бочку, пусть хоть там вспомнит.

Она покатилась прочь, и ещё долго было слышно, как она ругается на ступени, на темноту и на ухо в ящике, которое, по её словам, подслушивало.

Домой Тавьер пошёл длинной дорогой, через реку. Он всегда так ходил, хотя это лишних полчаса, и не смог бы объяснить зачем. Река текла по дну воронки, огибая шахту широкой дугой, медленная, чёрная, холодная, и над ней горбился нижний мост с пирожными лотками по обоим концам, сейчас закрытыми. Под мостом, на ступенях к воде, всю ночь горела лампа старой Ниэвы.

Ниэва сидела на нижней ступени, опустив ноги в воду, и разговаривала с мужем.

— Рыбу опять подняли, Вэлл, — говорила она вниз. — Цена, говорят, будет как в прошлом году. А я говорю, где это видано, как в прошлом году, когда в прошлом году она была хуже. Гарра Тамм отца завтра провожает, помнишь Сэллеха? Ты с ним на барже ходил. Нет, вру, это ты с его братом ходил.

Вода у ступеней была прозрачной, и лампа светила далеко вглубь. На дне, на светлом песке, лицом вверх лежал человек. Он лежал там семьдесят лет. Волосы у него отросли и колыхались вокруг головы тёмным облаком, и в этом облаке жили мальки, серебряные, быстрые: выныривали и прятались обратно. Кожа стала белой и мягкой, как хлеб в молоке; кое-где её общипали рыбы, и под общипанным росла новая. Глаза были открыты. Когда Ниэва говорила, он моргал. Раз в несколько минут. Очень медленно.

— Вот, Нимов мальчишка идёт, — сказала Ниэва вниз. — Помнишь Нимов? У которых она прачка, а он ушёл. Вырос мальчишка.

Человек на дне моргнул.

— Здравствуйте, — сказал Тавьер.

— Здравствуй, здравствуй. — Ниэва отломила кусок от лепёшки на коленях и бросила в воду. Кусок разбух и пошёл ко дну, и мальки сорвались к нему из мужниных волос. — Он когда прыгал, — сказала она, не оборачиваясь, — я его ругала. Ты чего, говорю, дурак, думаешь, сработает? Оно уже тогда не работало. А он прыгнул. Сердился на меня. Ну вот, лежит. Сердится. — Она помолчала. — А я хожу.

Тавьер сказал «доброй ночи» обоим и пошёл вверх по ступеням, и до самой своей террасы чувствовал затылком, как внизу, под водой, раз в несколько минут поднимаются и опускаются веки.

С лестницы было видно, что у Таммов гуляют всерьёз. Над двором висели на верёвках фонари, красные и жёлтые, под ними стоял длинный стол, собранный из трёх, под белой скатертью до земли. Оттуда неслись музыка, смех и звон ложек о стаканы: кто-то требовал, чтобы сказали ещё. Тавьер прошёл мимо, стараясь, чтобы его не заметили, и вошёл к себе.

В доме было темно, и эту темноту он знал наизусть.

— Сто восемь, — сказала мать. — Сто девять.

Она спала. Мэвва Ним спала сидя, двадцать лет подряд, на высоком табурете у окна, потому что лёжа задыхалась, и считала вдохи вслух даже во сне, голосом, каким считают бельё. Тавьер постоял в дверях, пока не услышал «сто десять». Он всегда дожидался следующего числа.

Вокруг табурета лежал шарф. Он выходил из её колен, спускался на пол и шёл кольцами вдоль стены, под стол, мимо печки, к двери в его комнату и обратно, и в темноте был похож на спящего зверя очень странной длины. Мать вязала его двадцать три года. Тавьер переступил через кольцо не глядя.

В его комнате пахло воском, шерстью и немного рассолом. Он зажёг огарок, и руки на полках проснулись.

Их было сорок две. Они стояли в банках на трёх полках над печной трубой, где теплее, на подстилке из овечьей шерсти, под крышками, в которых он сам пробил гвоздём дырки. На свет они поворачивались. Первой всегда просыпалась Тихоня, старушечья, вся в пятнах; потом Скрипач, чьи длинные пальцы и ночью выводили по стеклу что-то вроде гаммы; потом Сваха, толстая, с тремя кольцами, которая махала кому угодно; Невеста с белой полоской от кольца, которого не было; Кривуля, Ленивец, Пекарь, Близнецы (две левых, найденных в одну ночь на одном крыльце и с тех пор не разлучённых), Счастливчик без большого пальца и все остальные. Они махали ему, и банки позванивали, с полки на полку.

Он не выбрасывал ничего. Ни одной.

— Тихо, — шепнул он. — Мать спит.

Он вытащил Гребца, поставил новую банку, подстелил шерсти, посадил внутрь. Гребец ощупал стекло, нашёл его гладким и тёплым от трубы и успокоился. Тавьер подписал банку углём: «Гребец, Красильный, водосток». На всех банках было написано, где он их нашёл. Вдруг когда-нибудь кто-нибудь придёт спросить. Никто никогда не приходил.

Однажды, когда ему было девять, он сказал Вурхе, что любит их. Вурха смеялась так, что с тележки упал ящик с пальцами. Потом перестала и сказала: «Ну и правильно. Больше ж некому».

Музыка за стеной стала громче. Затянули песню, ту, что поют на хаммэ, медленную, с припевом, и её подхватили десятки голосов, кто в лес, кто по дрова. Скрипач в банке начал постукивать в такт. Тавьер задул огарок и вышел. Кто не пришёл на хаммэ к соседям, о том потом говорят, что у него не всё в порядке с головой.

Его увидели сразу.

— Нимов! — крикнула Гарра Тамм через весь двор, вставая и роняя салфетку. — Ним, иди сюда, отец про тебя спрашивал! Пустите его, это крэннер наш!

Гарре было сто двадцать восемь лет, она была дочерью, и сегодня была самым счастливым человеком на нижней террасе. На ней было лучшее платье, тёмно-зелёное, перешитое из бабушкиного, и оно не сходилось на спине: спина у Гарры за последние сорок лет пошла буграми, и в прорези между пуговицами виднелось розовое, рыхлое, и оно вздрагивало, когда Гарра смеялась. Она схватила Тавьера за руку обеими своими, горячими и влажными, и потащила через гостей.

Стол был накрыт так, как в Тэмхе накрывают только на хаммэ: белая скатерть, свечи в стаканах, плоский хлеб горками, рыба с нижнего берега, запечённая в листьях, кислый сыр, мёд в сотах, мясо, томлённое с горькими травами до того, что его можно есть ложкой, и бутылки из прадедовых погребов с пылью в палец толщиной, которую никто не стирал: пыль тоже угощение. Тарелки стояли и перед теми, кто уже не мог есть. Справа от главного места сидела шорра, тётка Сэллеха, сросшаяся с креслом так давно, что кресло стало частью её платья. Кто-то положил ей самый лучший кусок рыбы, и она смотрела на него неподвижными добрыми глазами, и этого было достаточно.

Во главе стола, в белом, сидел старый Сэллех Тамм и смеялся.

Он был огромный и узловатый. Ноги у него лет тридцать назад срослись в одну, толстую, бугристую, и он сидел на особом стуле, который сделал ему внук соседа, а ноги уходили под стол, как корень. Белая рубаха, шитая к этой ночи, с вышивкой по вороту, была уже в пятне от вина. Лицо красное, мокрое от слёз, и смеялся он так, что тряслись бутылки.

— А потом, — кричал худой старик с тремя ушами, — Сэллех, ты помнишь, а потом он вылезает из чана! Синий! Синий с головы до пят! И идёт по улице, а все думают, что это из шахты что-то вылезло!

— Год! — орал Сэллех, хлопая ладонью по столу так, что подпрыгивали стаканы. — Год ходил синий! Жена спала со мной в шапке, говорила, что я её во сне крашу!

Двор грохнул. Шорра в кресле медленно моргнула. Сэллех увидел Тавьера.

— Ним! Крэннер! А ну иди сюда. Вот он, — сказал он гостям, хватая Тавьера за рукав, — это он мне мизинец вернул. Два года назад. Отвалился на рынке и уполз, паскуда, а этот нашёл. В мешке принёс. Ваймер пришил. Вот. — Он поднял руку: мизинец сидел чуть криво, с розовым рубцом у основания. Мизинец помахал. — Так вот я его завтра с собой заберу. Слышите? Всё заберу, ничего вам, крэннерам, не оставлю. Пусть Вурха плачет.

— Вурха передала «лёгкого тарха», — сказал Тавьер. — И сказала, что вы ей должны за бочку.

Сэллех откинулся и захохотал так, что из глаз потекло, и стул под ним заскрипел, и корень под столом пошевелился.

— За бочку! Сто лет она мне эту бочку! Скажи, я ей там, внизу, сам отдам. Лично. Пусть приходит за ней.

Ему налили. Тавьеру тоже: в тяжёлый стакан, тёмного густого вина, которое пахло пылью и сливами и было старше его матери. Гарра стояла за спиной отца, держа руку у него на плече, и всё время, что Тавьер был во дворе, не убрала её ни разу. Когда нужно было налить, она перехватывала отца другой рукой.

— Лёгкого тарха, — сказал Тавьер и поднял стакан.

— Лёгкого тарха! — подхватил двор, сорок голосов, и все выпили.

Сэллех поставил стакан и вдруг притянул Тавьера за рукав, близко, и сказал ему почти в ухо, уже без смеха, с удивлением:

— Знаешь, что самое лучшее? Я завтра в полдень перестану хотеть есть. Сто пятьдесят один год хочу. Каждый день. А завтра в полдень перестану.

И отпустил, и снова захохотал, потому что старик с тремя ушами начал рассказывать, как Сэллех сватался.

Его конец будет на следующий день, немного за полдень, при открытых ставнях. Он будет слушать голос, который расскажет ему, как он был маленьким и синим, и будет смеяться в самом конце, но этого никто не услышит, кроме него самого и ещё одного, кто всегда слышит.

Тавьер пил своё вино медленно, чтобы хватило подольше: такого ему не нальют лет двадцать, до следующего хаммэ, на которое позовут. Потом поставил стакан и поднял голову.

Окно их дома выходило прямо на двор Таммов. В окне горела лампа, и на высоком табурете сидела мать.

Она проснулась. Сидела очень прямо, потому что иначе не могла, шарф лежал у неё на плечах и на коленях и уходил вниз, в комнату, а спицы в руках не двигались. Она смотрела на праздник. На фонари на верёвках, на белую скатерть, на старика во главе стола, которого держит за плечо дочь. Так смотрят с улицы в окно чужого дома, где садятся ужинать: на то, чего нельзя попросить, потому что это не продаётся и не дарится. Губы её шевелились. Тавьер знал, что она считает.

Он отвёл глаза. Лицо горело, как если бы это его застали раздетым. Он смотрел в скатерть, на винное пятно возле своего стакана, и чувствовал её взгляд, хотя знал, что смотрит она не на него.

За столом снова запели. Сэллех смеялся. В окне напротив шевелились губы.

2. Годовые кольца серой зимы

— Я тебе говорила, — сказала мать, и это было первое, что Тавьер услышал в тот день.

Он лежал на своей лежанке под полками, укрытый с головой, и свет из-под двери был уже дневной, белый, плоский. Руки в банках над ним тихо постукивали по стеклу: им было тепло от трубы, и они просыпались раньше него.

— Что говорила? — спросил он из-под одеяла.

— Всё говорила.

— Про что?

— Про всё, — сказала Мэвва Ним из соседней комнаты. — Вставай. Полдень скоро. Сто двенадцать.

Он встал. В большой комнате было светло от окна и пахло мылом, вчерашним лаххом и шерстью. Мать сидела там же, где сидела всегда: на высоком табурете у окна, с прямой спиной, с подушкой, привязанной к спинке, чтобы можно было откинуть голову, когда уснёт. Табурет сделал ей отец, когда Тавьеру было три года и у неё в первый раз срослось внутри так, что лёжа она начала синеть. Он сделал его выше обычного, чтобы ей было видно улицу. Это было единственное, что от отца осталось в доме, не считая самого Тавьера.

Мэвве было сорок шесть лет. Она была найрой, как и он, и кожа у неё на лице была ещё совсем молодая, гладкая, с веснушками на переносице, а кора, которая проступает на найрах, вылезла у неё не снаружи, а внутри, в груди, и никто этого не видел, кроме ваймера, который однажды, двадцать лет назад, приложил к её спине ухо и долго молчал. Лёгкие у неё срослись. Не до конца: на вдох ещё оставалась маленькая щель, узкая, как прорезь в копилке, и она вдыхала через эту щель, коротко, со свистом, и выдыхала долго, с тихим хрипом на дне. Чтобы щель не забыла, что она щель, мать считала вдохи. Вслух. Всегда.

— Сто тринадцать, — сказала она. — Ты рубаху вином облил.

— Не облил.

— Облил. Я из окна видела. Там у тебя пятно на груди, как на карте. Я тебе говорила, у Таммов наливают с горкой, держи стакан двумя руками.

— Ты мне этого не говорила.

— Говорила, — сказала мать и посмотрела на него с удовольствием. — Ты не слышал. Я тихо говорила. Сто четырнадцать.

Руки у неё не останавливались. Спицы, длинные, костяные, тёмные от двадцати трёх лет в пальцах, ходили одна вокруг другой с сухим постукиванием, и из-под них, как из-под земли, медленно вылезал шарф. Этот звук Тавьер слышал всю жизнь: свист вдоха, долгий выдох, число и между ними спицы. Звук их дома.



У Таммов дом звучал смехом и стуком посуды, у красильщика Обба плеском чанов, у Вурхи громыханием тележки, а у них вот этим: свист, выдох, число, спицы. Если Тавьер просыпался ночью и не слышал этого звука сразу, он садился на лежанке и ждал, пока услышит.

Шарф начался в тот год, когда он родился. Мать говорила, что начала его от скуки, когда лежала после родов, а потом не смогла остановиться, потому что, если бросить на середине, вещь обидится. Шарф выходил из её колен и шёл по полу кольцами, вдоль стены, под стол, вокруг печки, к двери в его комнату и обратно, а один раз, позапрошлой зимой, Тавьер нашёл его конец во дворе, под бельевой верёвкой, и не мог понять, как он туда попал. Каждая зима была своего цвета. Мать вязала из того, что удавалось достать, и по шарфу можно было читать их жизнь, как кольца на пне.

— Это какая? — спросил Тавьер, поднимая с пола полосу грязно-бурого цвета, широкую, плотную, с узелками.

— Это когда ты руку сломал. Тебе было семь. Ты полез за крэнной на крышу к сапожнику, и тебя крэнна оттуда столкнула.

— Не столкнула. Я сам упал.

— Столкнула. Я видела. Она тебя пальцем в лоб, и ты полетел. Бурую мне тогда отдала Ниэва, у неё был мешок от брата. — Мать подтянула шарф к себе, ощупала полосу, как ощупывают ткань на рынке. — Колючая. Тебе не нравилась. Ты всё время чесался, когда я тебя в неё заматывала.

Дальше шла серая, длинная, ровная, без узелков. Тавьер знал, какая это зима, и не спросил. Мать сказала сама:

— А это когда отец ушёл. Мне тогда только серое и могли продать. Всю зиму серое. Я думала, с ума сойду от серого.

— Знаю.

— Знаешь, — согласилась она. — Он тоже считал. Посчитал, что если сам встанет во вэрру за себя, то быстрее будет, чем если ждать тут. Я ему говорила. Пошёл. Может, и стоит там до сих пор, в лагере, ждёт. Ему уже за шестьдесят, наверное, борода седая. Сто девятнадцать. — Она помолчала, поменяла спицы. — Дурак. Я ему говорила.

— Что говорила?

— Что дурак. Говорила.

Через шестьдесят лет эту серую полосу будет теребить в пальцах женщина, которую Мэвва Ним никогда не увидит, и не будет знать, почему именно эта полоса так приятно ложится в руку.

Тавьер поставил на огонь воду и вышел во двор за бельём.

Белья было много. Мать была прачкой, и хотя к корытам она не спускалась уже двадцать лет, прачечные с улицы Харров каждое утро присылали ей наверх большие корзины выстиранного, высушенного, и она складывала. Никто на нижней Тэмхе не складывал так, как Мэвва Ним. Простыни у неё ложились в стопку ровными, острыми, белыми брусками, как хлеб в лавке, и в каждую она вкладывала по веточке сухой горькой травы, от моли, и за это прачечные платили ей, немного, но платили. Корзину поднимали к окну по верёвке, и мать работала прямо на подоконнике, не слезая с табурета, а Тавьер, когда был дома, помогал. Помогать ему не разрешалось. Разрешалось только держать.

— Не так, — сказала мать, едва он взял первую простыню. — Угол к углу. Угол к углу, а не как ты, как будто в сугроб падаешь. Ты её не обнимаешь, ты её складываешь. Встряхни. Встряхни, говорю, пусть воздух выйдет. Вот. Теперь ко мне.

Он шагнул к ней с двумя углами в руках, и она взяла их у него, и их пальцы на секунду встретились на ткани. У неё были горячие пальцы. От того, что она мало дышала, ей всегда было жарко, и она всегда была красная, как будто только что пришла с мороза.

— Сто двадцать шесть. Теперь пополам. Пополам, а не на треть. Ты как будто в первый раз.

— Двадцатый год.

— Вот и я говорю, — сказала мать. — Двадцатый год, а всё как в первый.

Они складывали молча, долго. Простыни пахли мылом и ветром. За окном была нижняя терраса, мокрая, с лужами после ночного тумана, и мать видела всё, что на ней происходило, и говорила об этом вполголоса, не отрываясь от работы, как говорят о погоде. Вон пошла Тумма, кэйна, к Оббу, с миской, опять опаздывает. Вон красильщиков младший понёс в синий чан чью-то бороду, срезанную, и борода у него в руках шевелилась, будто хотела обратно. Вон мальчишка с ярмарки, что торгует жареной рыбой, опять без шапки, простудится, а мать его потом ходить будет. Вон Ниэва поднимается от реки, медленно, старая уже. Сто тридцать три. Как будто вся Тэмха проходила мимо их окна, чтобы мать могла пересчитать её.

— Рэнхан не заходил? — спросила она.

— Он теперь в Иммарре. Пишет Тэнгорру.

— Знаю, что пишет. Я спрашиваю, не заходил.

— Нет.

— Мать его как?

— Сидит.

— Ну да. — Мать помолчала. — Хороший был мальчик. Ел у нас больше тебя. Ты передай ему, что я помню, как он у меня с подоконника пирог унёс, и пусть не думает, что я забыла.

— Это было пятнадцать лет назад.

— Ну и что, — сказала мать. — Пирог-то был мой.

Без четверти полдень на террасе стихло.

Сначала Тавьер этого не заметил, а потом заметил, что мать перестала вязать. Спицы лежали у неё в руках, и она смотрела в окно, на двор Таммов. Фонари там уже сняли, стол разобрали, белую скатерть унесли в дом, и двор был пустой, подметённый, мокрый. Ставни в доме Таммов были открыты настежь, все до одного. Так делают в Ирмауне, когда приходит тарх: открывают все ставни в доме, чтобы ничего не мешало.

С улицы ушли все. Тумма вышла от Обба и встала у его крыльца, держа пустую миску, и не пошла дальше. Красильщики на углу перестали стучать вальками. Мальчишка без шапки сел на ступеньку. Было слышно, как капает с крыши. Было слышно, как в комнате у Тавьера, за стеной, Скрипач тихо водит пальцами по стеклу: восемь нот вверх, восемь вниз. Было слышно, как дышит мать.

— Сто сорок, — сказала она шёпотом. — Сто сорок один.

Тавьер стоял с простынёй в руках и не знал, что с ней делать. Положить было нельзя, потому что пришлось бы шагнуть, а шагнуть было почему-то невозможно. Он держал её, белую, тёплую от рук.

Ничего не происходило. Дом Таммов стоял с открытыми ставнями, тихий, и в нём, где-то в глубине, в спальне, на кровати лежал старый Сэллех в белой рубахе с пятном от вина, и Гарра держала его за руку, и откуда-то, издалека, снизу, из глубины, куда не дотягивается ни одна верёвка, кто-то с ним говорил. Этого никто не слышал, кроме Гарры, а Гарра слышала только гул, как из-за стены у соседей, без слов. Слова были слышны только ему. Все знали, что голос начинает с самого начала, с того, что человек сам про себя не помнит, и идёт по жизни медленно, ничего не пропуская, и что ушедшие слушают его так, как в детстве слушали сказку, и засыпают на ней. Так говорили. Так говорила Тиррха Лэн, которая тридцать лет назад держала руку собственного мужа и с тех пор ходила по Тэмхе и рассказывала об этом каждому, кто спрашивал, а спрашивали все.

Мать сидела неподвижно. Губы её шевелились. Тавьер вдруг понял, что она не считает, а повторяет одно и то же слово, без звука, и не смог разобрать какое.

Потом в доме Таммов кто-то заплакал. Негромко. Так плачут не от горя, а от того, что всё кончилось и можно наконец перестать держаться. Через какое-то время на крыльцо вышла Гарра. Она была всё в том же зелёном платье, которое не сходилось на спине, и она села на

ступеньку и сидела там, держа одну свою руку другой, как держат чужую, и смотрела перед собой.

Мать открыла окно. Ей было трудно тянуться к задвижке, и Тавьер сделал это за неё.

— Гарра, — позвала мать. Голос у неё был слабый, но на тихой улице его было слышно. — Гарра, ну как?

Гарра подняла голову. Лицо у неё было мокрое и совершенно спокойное.

— Он смеялся, — сказала она. — В самом конце. Я не знаю, над чем. Ему что-то рассказывали, а он слушал, и потом засмеялся, тихонько, как маленький. И всё.

— Хорошо рассказывали? — спросила мать.

— Я не слышала. Им одним слышно. — Гарра вытерла лицо ладонью. — Рука тёплая ещё. Я пойду, Мэвва. Я пойду посижу ещё.

— Иди, — сказала мать. — Иди, конечно.

Гарра ушла в дом. Ставни остались открытыми до вечера. Улица постояла ещё немного, а потом красильщики снова застучали вальками, Тумма понесла свою миску дальше, мальчишка без шапки побежал вниз к ярмарке, и всё пошло как было. Мать закрыла окно. Тавьер наконец положил простыню.

— Сто сорок восемь, — сказала мать и взялась за спицы. Она вязала до вечера быстро, быстрее, чем обычно, и Тавьер ни о чём не спрашивал.

К лаххеру он пошёл, когда начало темнеть.

Борро держал лаххерню на Дымном спуске, в подвале, и туда надо было спускаться по ступеням, скользким от смолы, которая сто лет оседала на них из воздуха. Внизу было жарко, как в бане, и пахло так густо, что запах можно было резать: сладкая смола, горелое дерево, мокрая шерсть и ещё что-то тёплое, кровяное, от котла. Котёл стоял посередине, огромный, медный, чёрный снаружи, и в нём медленно ворочалась густая бурая масса, а над ней, на краю котла, сидели пальцы. Десятки пальцев, чужих, собранных по всей Тэмхе, прицепленных к краю за ногти, свешенных внутрь, и они медленно, все вместе, водили в массе кругами, как мешалки. Им было тепло. Им нравилось. Тавьер подумал, что надо будет сказать Пэтту, что его пальцы устроились хорошо.

Борро был эрном, круглым, лысым и восковым. Лицо у него за девяносто лет над котлом стало гладким, жёлтым и чуть прозрачным, как свеча, и на висках сквозь кожу просвечивали тёмные жилки. Он говорил тихо, ласково и всегда немного в нос, будто у него насморк, который длится уже лет пятьдесят.

— Для сна, — сказал он, прежде чем Тавьер успел открыть рот. — Как всегда. Для Мэввы.

— Да.

— Подорожало, Нимов. — Борро сказал это с искренним сожалением. — Смола с верхних склонов пришла плохая, мне её втрое выварить. Иммарр скупает весь хороший лахх, у них там к Гуррэну готовятся, Дома берут бочками. Флакон теперь вдвое.

Тавьер выложил на прилавок то, что у него было. Это были деньги за мизинец старого Сэллеха, двухлетней давности, которые он берёг, и деньги от ваймера за две ступни, и мелочь. Борро посмотрел на кучку, потом на Тавьера, потом снова на кучку.

— На половину, — сказал он мягко.

— На неделю мне надо.

— На неделю, Нимов, это ещё столько же. — Борро подумал, почесал восковой висок, и жилка под пальцем дрогнула. — Слушай. А та твоя, длинная. Которая гамму играет. Скрипач, что ли. Ко мне ваймер с верхних заходил, спрашивал. У него заказчица, старуха из Салварр, у неё руки до локтей окостенели, хочет пальцы, которые музыку помнят. Он бы за такую дал… — Борро назвал цену, и Тавьер услышал её так, как слышат шум в ушах. Это был лахх на три месяца. Может, на четыре. — Подумай. Я не тороплю.

— Нет, — сказал Тавьер.

— Подумай, говорю.

— Нет.

Борро вздохнул без обиды. Он достал из-под прилавка флакон, поменьше, чем обычно, тёмного стекла, заткнутый воском, и пододвинул его к Тавьеру через кучку денег.

— Это на шесть ночей, если щепотку класть, — сказал он. — А ты клади полщепотки. Ей хватит, она маленькая. — И, когда Тавьер уже поднимался по ступеням, крикнул вслед, в нос: — Ничего не выбрасываешь, Нимов! Вурхина школа! А матери спать надо!

Тавьер не обернулся.

Вечером он варил ужин. Это было его дело с тех пор, как ему исполнилось десять: мать не могла стоять у печки, а сидеть у неё было слишком жарко, от жара она начинала задыхаться. Она руководила с табурета. Так и называла это: «руковожу».

Варил он рыбную похлёбку. Рыба была с нижнего берега, серебряная, длинная, с маленькой злой головой, которую надо было отрезать и бросить в котёл первой, для навара. Потом шли слезняки, мелкие, кислые, мучнистые клубни, от которых, когда их чистишь, щиплет глаза, за что их так и прозвали. Потом горсть сушёной травы с горьким запахом, соль и лепёшки, плоские, на углях, которые надо было переворачивать голыми пальцами, быстро, пока не обожгло.

— Соль, — сказала мать. — Нет. Не столько. Половину. Я тебе говорила. Двести один. Головы вынь, они уже всё отдали. Не туда, не на стол, кошке отнеси, у Шиммы старая не ест ничего, может, рыбу будет.

— Отнесу завтра.

— Отнеси. Двести три. Лепёшку переверни. Горит. Я тебе говорила, она горит, ты не слышишь, ты нюхай. У тебя нос для чего?

— Для крэнны.

— Для крэнны, — передразнила мать и засмеялась, и смех у неё вышел коротким, с присвистом, и оборвался, потому что воздуха на него не хватило. Она переждала, держась за край подоконника. Потом сказала, отдышавшись: — Сбилась из-за тебя. Сколько было?

— Двести шесть.

— Врёшь. Двести четыре.

— Двести шесть, — сказал Тавьер. — Ты два раза вдохнула, пока смеялась.

Мать посмотрела на него долго, с прищуром, как на прачку, которая утверждает, что пятно было до неё.

— Двести семь, — сказала она наконец. — Ладно. Ешь давай.

Ели они у окна: мать на своём табурете, с миской на подоконнике, Тавьер на низкой скамейке у её ног, с миской на коленях. Мать ела мало и медленно, потому что глотать и дышать одновременно не умела, и каждую ложку приходилось вставлять между вдохами, как слово в чужой разговор. Она ела, а Тавьер смотрел, как она ест, и делал вид, что не смотрит.

— Хорошая похлёбка, — сказала она. — Соли много.

— Ты сказала половину.

— Я сказала половину, а ты положил половину от того, что было до того. Ну ничего. Двести двадцать.

За окном двор Таммов был тёмный. В доме не горел свет. Ставни наконец закрыли.

— Сколько они за место отдали? — спросил Тавьер. Он не собирался об этом спрашивать. Само спросилось.

— Таммы-то? Ничего не отдали. Место от тётки. Тётка лет восемьдесят назад записалась, а как подошло, передумала. Испугалась. Сказала, что ещё поживёт. Ну и передала по завещанию Сэллеху. А сама сидит вон, в кресле, шорра, ты её видел вчера. Она теперь уже не может передумать обратно. — Мать покачала головой. — Нашла чего испугаться.

— А если бы мы встали? — сказал Тавьер. — Сейчас. Если бы записались.

Мать отложила ложку и стала считать, не по вдохам, а по-другому, загибая пальцы на краю подоконника, шевеля губами, как на рынке, когда её хотят обвесить.

— Шестьсот тысяч ждут, — сказала она. — А он там внизу, бедный, триста в год. И из этих трёхсот Дома своих пропускают, а нам что останется. Я считала уже, Тавьер. Давно посчитала. Если б мы сегодня записались, моё место подошло бы через две тысячи лет. Ну, может, через тысячу девятьсот, если кто передумает, как Таммова тётка.

— Подождёшь? — спросил он.

— А куда я денусь, — сказала мать. — Подожду. Мне не к спеху. Ты только крышу к тому времени почини, она над твоей комнатой течёт, твоим рукам на головы капает.

— Я к тому времени буду шорром на этой крыше.

— Вот и хорошо, — сказала мать. — Хоть протекать перестанет.

Он засмеялся. Она засмеялась тоже, коротко, со свистом, и снова сбилась, и замахала на него рукой, чтобы он замолчал, и они сидели у окна и молча, отчаянно, с красными лицами пытались не смеяться, и не могли, и это было самое смешное, что случилось с ними за весь год. Потом мать отдышалась и сказала: «Двести сорок», — и Тавьер сказал: «Двести тридцать восемь», и она сказала: «Ну вот видишь, а ты говоришь».

Когда стемнело совсем, он насыпал в глиняное блюдце полщепотки лахха из нового флакона, поджёг лучиной и поставил на подоконник рядом с ней. Дым пошёл тонкий, синеватый, и потянулся к её лицу, как будто знал дорогу. Мать вдохнула его, поморщилась, как морщилась всегда, и сказала:

— Опять дорогой купил.

— Обычный.

— Дорогой. Я по запаху слышу. У Борро дешёвый пахнет палёной шерстью, а этот пахнет сливами. — Она помолчала. — Не надо было.

— Надо.

— Я тебе говорила, — сказала мать. Голос у неё стал медленнее, мягче. — Не надо дорогой.

— Не говорила.

— Говорила, — сказала мать, закрывая глаза. — Ты не слышал.

Она уснула с вязанием на коленях. Голова откинулась на подушку, привязанную к спинке, и рот приоткрылся, и вдохи стали реже, длиннее, со свистом в начале и с тихим клёкотом в конце. Считать она не бросила. Числа шли во сне, невнятно, будто издалека: двести шестьдесят, двести шестьдесят один. Тавьер сидел на скамейке у её ног, обняв колени. Он не уходил к себе. Он редко уходил, пока она не уснёт крепко, а сегодня не уходил и после.

Он считал вместе с ней. Не вслух. Он всегда считал вместе с ней, с детства, сам того не замечая, как не замечают, что моргают. Её числа отдавались у него внутри, и, если она сбивалась, он знал правильное. Двести семьдесят. Двести семьдесят один. Свист. Выдох. Тишина. Двести семьдесят два.

Он думал про старого Сэллеха. Про то, что тот смеялся. Про то, как Гарра сидела на ступеньке, держа одну свою руку другой. Про голос, которого никто не слышит. Он сидел и думал о том, что ни разу в жизни не видел, как кончается живое. Ни разу. Он видел, как оно отваливается, ползёт, срастается, моргает со дна реки, но никогда не видел, чтобы оно кончалось, и не знал, как это выглядит, и даже Гарра, которая держала отца за руку, не смогла ему этого объяснить.

Около полуночи мать проснулась. Не открывая глаз, она сказала:

— Открой окно.

— Холодно, мам. Туман.

— Открой. — Она открыла глаза. Они были мутные от лахха и очень спокойные. — Воздуха слишком много.

— Что?

— Воздуха, — повторила она терпеливо, как повторяют ребёнку. — Его тут слишком много. Он на меня давит. Его много, а мне не взять. Открой, пусть выйдет.

Он встал и открыл. Окно отошло со скрипом, и в комнату вошла ночь: туман, холод, запах реки, лахха и мокрого камня, далёкий шорох крэнны в водостоках. Где-то внизу, у края шахты, мэйрук протяжно выкрикнул что-то, чего не было слышно. Мать повернула лицо к окну и дышала. Свист. Выдох. Пауза. Тавьер стоял у подоконника и ждал следующего числа.

— Двести девяносто, — сказала она.

Свист. Выдох. Пауза.

Пауза.

Пауза была длинной. Тавьер стоял и ждал. Он ждал так, как ждал всю жизнь, внутри себя, приготовив следующее число, и оно не приходило, и он стоял и держал его наготове, как держат протянутую руку, когда другой не берёт, и рука начинает уставать. Внизу шуршала крэнна. Скрипач за стеной водил по стеклу свою гамму. И в этой паузе, в самой её середине, где-то в глубине себя, куда он никогда не заглядывал, Тавьер услышал маленький, тихий, отчётливый голос, и голос этот был его, и голос этот сказал: пусть не придёт.

— Двести девяносто один, — сказала мать.

Он закрыл глаза.

Свист. Выдох. Пауза. Двести девяносто два. Она дышала у открытого окна, в холодном тумане, маленькая, красная, с откинутой головой, с шарфом на коленях, который уходил с её колен на пол, по полу к стене, вдоль стены в темноту, двадцать три зимы разного цвета, и считала, и будет считать, и через две тысячи лет будет считать, и он будет сидеть у её ног и ждать следующего числа, каждый раз, каждую ночь, всю жизнь, и каждый раз в паузе этот голос будет говорить ему то, что он только что услышал.

Тавьер стоял у окна и понимал, ясно и спокойно, как понимают, что дом горит, что больше не выдержит её вдохов. Ни одного. Ни следующего, ни того, что после.

— Двести девяносто три, — сказала мать. — Закрой теперь. Вышел.

3. Чаша полной тишины

Рыбьи головы Тавьер завернул в тряпку и понёс в «Хэнниш» на следующий день к вечеру, когда солнце ушло с нижних террас и висело только над Иммарром, а на ярмарке у края шахты разжигали жаровни.

«Хэнниш» стоял на Ярмарочной террасе, на пролёт лестницы выше площади, и из его окон шахта была видна целиком: чёрный круг, жаровни вэрников вокруг него бусами и мэйруки на самом краю, с головами, опущенными к темноте. Над дверью висела облезлая вывеска: рука с игральной костью в пальцах. Говорили, её писали с руки самой Шиммы Фро, сто лет назад, когда Шимма ещё вставала со стула.

Внутри было низко, жарко и пахло всем сразу: жареной рыбой, кислым пивом, чернилами, лаххом, мокрой шерстью и кошкой. Звук у «Хэнниш» тоже был свой: стук костей по столам, шелест страниц, бормотание ставок и поверх всего скрип. Кресло Шиммы ехало на трёх колёсах, обитых железом, и одно скрипело всегда, на две ноты, громко и жалобно. В Тэмхе говорили, что Шимма нарочно не даёт его смазать: пусть все слышат, куда она едет, и успевают спрятать деньги.

Стойкой в «Хэнниш» служил дядька Олл. Он не стоял за стойкой, он ею был. Шестьдесят лет назад Олл наливал здесь пиво, облокачиваясь на дубовую доску, потом облокачивался всё дольше и однажды не смог отлепиться. Теперь грудь, живот и ноги были одно с доской, тёмное, отполированное чужими локтями до блеска, и над ней поднимались только руки, плечи и большая лысая голова. Наливал он быстрее всех на террасе и сердился, когда ему на живот ставили горячее.

— Локти, — сказал он, когда Тавьер подошёл. — Локти, Ним, я тебе не лавка.

— Я не облокачивался.

— Собирался. Я видел. — Олл кивнул на дальний конец стойки. — Она там. Не ест. Четвёртый день.

Шарш лежала на книге.

Книга была толстая, в коже, исписанная мелким острым почерком Шиммы: имена, суммы, долги, стрелки, кресты. Таких книг на полке за стойкой стояло сорок или пятьдесят, разбухших от сырости, и в них, говорили, был записан каждый, кто за сто лет переступал порог «Хэнниш»: что пил, на что ставил, сколько остался должен. Шимма помнила всех и без книг. Книги были для порядка. И для кошки.

Кошка спала только на раскрытых страницах, посередине, прямо на ставках, и в «Хэнниш» давно была примета: на чьём имени Шарш уляжется, тот проиграет. Шимма говорила, что это глупость. Но всегда смотрела, на чьё имя.

Шарш было двадцать два года, и для кошки это всё равно что для человека сто сорок, только у кошки по-настоящему. Серая, с одним рыжим ухом, тощая так, что позвонки можно было пересчитать пальцем, с хвостом, сломанным в двух местах: хвост у неё был похож на вопрос, который так и не задали. Никого не любила, кроме Шиммы, и трогать себя никому другому не давала. Пила из стакана Олла, когда Олл отворачивался, и Олл делал вид, что не видит. И охотилась. Мышей в Тэмхе давно повывели, а крэнны было много, и Шарш охотилась на пальцы. Приносила их Шимме в зубах, живые, дёргающиеся, клала на колени, и Шимма говорила «спасибо, моя хорошая» и складывала их в банку под стойкой, для Тавьера. Он забирал банку раз в месяц. Пальцы, пойманные Шарш, были самыми смирными во всей Тэмхе: кошка их как-то вразумляла.

Сейчас она лежала, вытянувшись, положив голову на лапы, и смотрела в никуда. Шерсть на боках свалялась, бока ходили быстро и мелко. Когда Тавьер подошёл, рыжее ухо повернулось к нему, послушало и вернулось на место.

— Ну давай свои головы, — сказала Шимма Фро у него за спиной, и кресло проскрипело две ноты. — Не будет она. Но давай.

Шимме было сто семьдесят лет. Маленькая, круглая, она торчала головой и руками из четырёх шалей разного цвета, надетых одна поверх другой. Голова была большая, лицо за сто сорок лет наплыло само на себя складками, как тесто через край миски, и в складках сидели два глаза: один чёрный, быстрый, весёлый, другой белый, затянутый. Белым, по словам Шиммы, она видела, кто врёт. Ноги её давно ушли в кресло, и лет сорок их никто не видел. Руки были в чернилах до запястий. Ногти росли внутрь, загибаясь под пальцы, отчего пальцы стали короткими, тупыми, с твёрдыми буграми на концах. Писала она ими быстрее любого ратхина Иммарра.

— Нимов, — сказала она. — Нимов внук. Дед твой у меня пил тёмное с мёдом и ставил на дождь. Каждую весну на дождь. Ни разу не выиграл. Отец твой не пил. Отец твой стоял вот тут, где ты стоишь, и спрашивал цены. А ты носишь моей кошке рыбьи головы. Давай сюда.

Тавьер развернул тряпку. Шимма выбрала самую маленькую голову, понюхала, хмыкнула, положила на блюдце и подвинула блюдце к кошке прямо по книге, по чьим-то долгам.

— Шарш. Смотри. Мэввина. С нижнего берега.

Кошка подняла голову. На это ушло много времени. Она понюхала воздух над блюдцем, вежливо, как нюхают ненужный подарок, чтобы не обидеть, и опустила голову обратно.

— Видишь, — сказала Шимма. — Вежливая. Сто семьдесят лет живу, меня так никто не жалел, как она жалеет. — Она положила тупые чернильные пальцы кошке на спину, между лопатками, и бока под ними пошли медленнее. — Уходит. Неделю уже уходит.

— Откуда вы знаете? — спросил Тавьер.

Шимма посмотрела на него обоими глазами, чёрным и белым, и он понял, что сказал глупость.

— Я в Хэйш была замужем, мальчик. Мне тридцать было. Я знаю, как уходят. Сто сорок лет этого не видела, а всё помню. Это как плавать.

Народу в тот вечер было больше обычного. Люди пришли на кошку. Брали кружку, садились подальше, у стен, пили медленно и сначала не смотрели на стойку, а потом смотрели. Так ходят в каррэм. Старый мэйрук Пэрр, у которого уши за сто лет на краю шахты разрослись в два мягких розовых раструба, сидел у окна над нетронутой кружкой, хотя смена у него начиналась через час. Две прачки с Харров. Носильщики с ярмарки. Красильщиков младший, синий по локоть. Незнакомая старуха в чёрном, у которой половину лица затянула гладкая розовая кора, оплывшая, как воск по свече. Вурхи не было. Вурха не ходила в каррэмы, говорила, что ей своих хватает.

Двое у дальнего стола шептались слишком громко. Один был Хорт, мелкий вэрник с ярмарки, гладкий, с двумя золотыми зубами и третьим, вставленным в нижнюю губу снаружи, для красоты.

— …до утра, — говорил Хорт. — Один к трём, что до утра. Один к пяти, что до полуночи. Ну? Я же не на человека…

Кресло проскрипело две ноты. Шимма развернулась от стойки и поехала к дальнему столу, и все на её пути убрали ноги.

— Хорт, — сказала она, подъехав. — Хорт, мальчик мой. Тебе сколько лет?

— Сто п-пятьдесят шесть, тётка Шимма.

— Сто пятьдесят шесть. И ты у меня в книге с тех пор, как тебе было сорок. Я знаю, что ты ставил на собственную тёщу и проиграл. Я знаю, что зуб в губе у тебя не золотой, а крашеный. — Она подалась вперёд, насколько пускали шали. — Если ты ещё раз примешь ставку на мою кошку, я велю Тавьеру разобрать тебя по частям и скинуть в жёлоб. По одной. И на каждой подпишу, чья, чтобы внизу знали, кого благодарить. Понял меня, Хорт?

— Понял, тётка Шимма.

— Выйди.

Хорт вышел. Приятель за ним. Шимма проскрипела обратно и снова положила руку на кошку.

Хинн, разносившая кружки, остановилась рядом с Тавьером. Ей было шестнадцать, найра, тоненькая, светловолосая, с длинной шеей; Шимма держала её третий год, потому что Хинн была быстрая и не воровала.

— Ты видел когда-нибудь? — спросила она шёпотом. — Как это.

— Нет.

— И я нет. Нас в школе водили в каррэм. Там пёс был старый, сказали, сегодня-завтра. Мы стояли полдня. А он лежал и лежал, и учитель сказал, что нам пора. А он потом ещё три месяца прожил. Я ходила потом. Не застала.

— Я тоже не застал, — сказал Тавьер. Его в каррэм не водили. Его водила Вурха, по водостокам.

— Никто из наших не видел, — сказала Хинн. — Никто.

Она ушла. Кроме Хинн и его самого, найров было ещё трое: красильщиков младший, носильщик у двери, совсем мальчишка, и молодая женщина у очага с ребёнком на руках, настоящим, годовалым, румяным, на которого весь зал поглядывал украдкой и тут же отводил глаза, чтобы не сглазить. Найры смотрели на стойку одинаково. Эрны по-другому, и Тавьер не сразу нашёл слово. Узнавание. Так смотрят на дом, в котором жили в детстве.

Шарш встала.

Сначала передние лапы, потом задние; качнулась, и Шимма убрала руку. Это увидели все. Разговоры стихли, остались только кости, которые кто-то по привычке катал по столу, потом и кости легли.

Кошка постояла на книге. Посмотрела на блюдце. Потом пошла по стойке, по самому краю, как ходила всегда, мимо кружек и локтей, мимо Олла. Олл замер с кувшином на весу. У конца стойки кошка остановилась. Раньше она спрыгивала отсюда не глядя. Сейчас долго смотрела вниз, вытянув шею, примериваясь.

Потом прыгнула.

Она упала на бок, с глухим стуком, который услышали все. Кто-то охнул. Хинн дёрнулась к ней, но Шимма сказала, не повышая голоса: «Стой», и Хинн осталась на месте. Кошка полежала. Потом подобрала лапы, поднялась, отряхнулась с головы до сломанного кончика хвоста и пошла через зал.

Она шла к двери. Мэйрук Пэрр повернул ей вслед огромные уши. Ребёнок у очага потянулся к ней ручкой и сказал «ма», и мать прижала его к себе. Мимо Тавьера кошка прошла, не взглянув. У двери села и оглянулась на Шимму.

— Открой, — сказала Шимма.

Хинн открыла.

Порог у «Хэнниш» был каменный, широкий, стёртый посередине до ямки сотней лет ног, и на нём лежал последний косой луч солнца, пробившийся между двумя домами напротив. Камень был тёплый. Шарш понюхала его, обошла полосу света трижды, по кругу, как обходят постель, и легла в самой середине, на бок, вытянув лапы. Шерсть на ней в этом свете стала серебряной, а рыжее ухо просветилось насквозь, до тонких красных жилок.

Кресло проскрипело через зал две ноты, ещё две, ещё. Шимма остановилась на пороге, за спиной у кошки, и посмотрела на улицу.

— Тихо, — сказала она.

Негромко. Её услышали все.

На Ярмарочной террасе вечером никогда не бывало тихо. Кричали торговцы, грохотали тележки, звенели колокольчики у лотков с урнами, внизу гудела ярмарка, и этот шум был

постоянным, как шорох крэнны ночью: его не слышат, пока он есть. Теперь Тавьер стоял за спиной у Шиммы и слышал, как он кончается.

Сначала замолчала Ушша, торговка пирогами с нижнего моста, и так и осталась стоять с пирогом в поднятой руке. За ней её покупатель. Двое носильщиков опустили бочку на мостовую так медленно, словно в ней спал ребёнок. Остановилась тележка, которую старик катил вниз, и бабка-шорра, сросшаяся с тележкой, повернула голову. Тишина расходилась от порога «Хэнниш» кругами, спустилась по лестнице, и внизу, на площади, замолчал один вэрник, другой, и у горящих жаровен люди стояли, задрав головы. Один из мэйруков на краю шахты обернулся. Мэйруки никогда не поворачиваются к шахте спиной во время смены. Этот повернулся.

Никто их не звал, но люди выходили на крыльца и молча вставали вдоль улицы. Эрны с наростами на плечах, с лишними суставами, с чужими пришитыми руками. Шорров выносили вместе с креслами. Старик с тележкой снял шапку. Рука у него поднялась сама, неуверенно, ощупью, стянула шапку и прижала к груди, и старик уставился на шапку в своём кулаке, не понимая, откуда она. Сто сорок лет никто в Ирмауне не снимал шапку перед концом. Рука помнила.

Стало тихо так, как в Ирмауне не бывает. Тавьер слышал, как трещит фитиль в лампе у него за спиной. Как хрипло дышит Шимма в своих шалях. Как под мостовой, в водостоках, шуршит крэнна. А потом услышал, что она перестала. Может быть, показалось. Но шорох, под который он засыпал и просыпался с шести лет, стих, и под Ярмарочной террасой стало слышно, как далеко внизу, в шахте, с долгим промежутком выдыхает тёплый воздух.

— Подними меня, — сказала Шимма.

Тавьер не сразу понял. Шимма повернула голову, и белый глаз смотрел прямо на него.

— Подними меня, Нимов. Я не достану.

Он обошёл кресло, наклонился и взял её, ожидая треска, чего-то страшного. Но под шалями ноги оказались просто ногами, тонкими, сухими, как палки в мешке, и только снизу, там, где она сорок лет касалась дерева, ладонь нащупала шершавое, тёплое, вросшее. Нарост натянулся. Шимма зашипела сквозь зубы. Потом что-то поддалось с влажным чмоканьем, и Шимма оказалась у него на руках, лёгкая, пахнущая чернилами, лаххом и старой шерстью. На сиденье остался розовый мокрый след, и он вздрагивал. Тавьер опустил её на порог, рядом с кошкой, в золотую полосу. Она села на камень боком, поправила шаль и протянула руку.

Рука её была ужасна. Тавьер видел её тысячу раз и никогда не разглядывал. Теперь разглядел. Раздутые на концах пальцы, вросшие ногти, синие от чернил, бородавчатый нарост на тыльной стороне ладони, тёмный, с жёсткими волосками, и сбоку на мизинце маленький розовый шестой палец, проклюнувшийся в этом году, который всё время шевелился. Эта рука легла на кошку, на серебряную шерсть, на тонкие рёбра, ходившие быстро-быстро. И кошка вытянула шею и потёрлась об эту руку щекой. Один раз.

И замурлыкала.

Больше на всей Ярмарочной террасе ничего не было слышно. Хриплое, неровное мурлыканье, с перебоями, как у старой прялки, которая крутится уже сама по себе. Вся улица стояла и слушала, и никто не дышал.

Тавьер понял, что считает.

Вдохи у кошки были маленькие, быстрые, и он считал их, как всю жизнь считал материнские. Двенадцать. Тринадцать. Кошка дышала часто, потом реже. Тридцать. Бока поднимались и опускались под рукой Шиммы; Шимма не гладила, просто держала ладонь, чтобы было тепло. Сорок один. Мурлыканье пропадало и возвращалось. Кошка вытянула передние лапы далеко вперёд, выпустила когти, сжала, снова выпустила, переминая камень, как котёнок мнёт живот матери. Шимма сказала: «Ну-ну. Ну-ну, моя хорошая». Пятьдесят. Пятьдесят один.

Между пятьдесят третьим и пятьдесят четвёртым была пауза. Тавьер замер. Пятьдесят четвёртый пришёл, неглубокий: кошка вдохнула только чтобы проверить, есть ли ещё воз-

дух. Пятьдесят пять. Мурлыканье кончилось. Не оборвалось: кончилось, как звук отпущенной струны. Пятьдесят шесть. Рыжее ухо дрогнуло, повернулось к Шимме, к её голосу, и так и осталось.

Пятьдесят семь.

Тавьер ждал пятьдесят восьмого. Держал его наготове, на кончике языка, и знал, как бывает: пауза затянется, в груди сожмётся, потом вдох придёт, и всё начнётся сначала. Луч на пороге сдвинулся на палец, ушёл с кошкиной головы и лёг ей на спину. Тавьер ждал. Внутри ничего не сжималось. Пауза тянулась, длинная и не страшная, и в ней не было никакого голоса, ни его, ни чужого: ничто не говорило ему «пусть» и ничто не говорило «нет». Она была полной, как чаша, налитая до краёв, в которую больше не нальёшь, но и не надо.

На край кошкиного глаза села муха. Маленькая, тёмная, с зелёным отливом. Посидела, потёрла лапки.

Шарш не моргнула.

Тавьер смотрел на муху и на глаз, приоткрытый, жёлтый, с узким зрачком, и думал о Вэлле на дне реки, который моргает раз в несколько минут уже семьдесят лет. О матери, которая моргает во сне. Об Оббе, у которого шевелятся пальцы на колене. Обо всём, что он видел в жизни и что рано или поздно моргало, дёргалось, ползло, хотело. Муха сидела на открытом глазу, и глаз не хотел ничего.

Шимма согнала муху. Потом провела по кошкиным векам сверху вниз тупым чернильным пальцем с вросшим ногтем, уверенно, без запинки, будто делала это вчера, а не сто сорок лет назад. Веки закрылись не до конца. Осталась узкая жёлтая полоска. Шимма провела ещё раз. Полоска осталась. Шимма оставила палец на веках и так сидела.

Никто не сказал «всё». Никто ничего не сказал.

Солнце ушло с порога: по шерсти, по хвосту, сломанному в двух местах, по краю камня. Порог стал серым, и кошка на нём стала серой. Сотни людей, эрны и найры, стояли вдоль домов и на площади внизу и смотрели на старуху в четырёх шалях, которая держала палец на веках маленького серого тела. Никто не уходил. Потом Тавьер узнал, что они простояли почти час. Ему показалось, что меньше. Ему показалось, что больше.

Найры потом так и не смогли рассказать друг другу об этой тишине; только переглядывались, если при них вспоминали «Хэнниш». Эрны не пытались. Они помнили.

Первым шевельнулся старик с шапкой. Подошёл к порогу, наклонился, насколько пускала спина, положил шапку на камень рядом с кошкой и отошёл. Потом Ушша положила пирог, тот самый, который так и держала в руке. Прачка с Харров вынула из волос ленту. Годовалый ребёнок на руках у матери потянулся и уронил на камень деревянную ложку, которую грыз, и мать не стала её поднимать. Люди подходили и клали. Монеты. Пуговицу. Кусок сахара. Цветок из чьего-то нароста, отломанный с плеча, бледный, мясистый, ещё тёплый; на камне он начал медленно поджимать лепестки. Сто сорок лет никто в Ирмауне не носил ничего на порог, где кто-то кончился. Никто их этому не учил.



Хинн стояла в дверях и плакала беззвучно, кусая костяшки. Мэйрук Пэрр плакал тоже, и слёзы стекали у него в складки огромных ушей.

— Закопать надо, — сказала Шимма. Первые слова за час, и голос совершенно обычный, хриплый, деловой. — Нимов. Закопаешь?

— Я не умею, — сказал Тавьер.

— Никто из вас не умеет. Ничего. Научат.

Научила Вурха.

Она прикатила, когда улица уже расходилась, злая и красная. Посмотрела на кошку, на Шимму, на вещи на камне и ничего не сказала. Тавьер никогда не видел, чтобы Вурха Тенн ничего не сказала. Потом она развернула тележку к проходу во двор и бросила через плечо:

— Лопату бери. Чего стоишь.

Двор за «Хэнниш» был маленький, с кривым бесплодным деревом в углу, и под деревом была земля. Тавьер копал при фонаре, который держала Хинн, а Вурха сидела у края и командовала, тише обычного.

— Глубже. Ты как огород копаешь. Глубже, говорю, в локоть ещё. Чтоб крэнна не добралась.

— Она к теплу ползёт, — сказал Тавьер. — А там будет холодно.

— Сейчас холодно. А потом там будет всё время по-разному. Глубже, я сказала.

Земля была тяжёлая, сырая, и в ней жили. На второй лопате из стенки ямы высунулись три пальца, грязные, бледные, сплетённые, как корни, отдёрнулись от железа и ушли обратно, оставив три аккуратные дырочки. Хинн взвизгнула. Вурха сказала: «Не трожь. Они тут живут. Ты к ним в дом лезешь, а не они к тебе». Тавьер копал дальше, обходя дырочки.

— Откуда вы знаете, как надо? — спросил он, стоя в яме по пояс.

— Я в Хэйш двенадцать ям выкопала, — сказала Вурха. — Мне двадцать три было, как тебе. На Старом склоне, где теперь лаххерни. Маленьких ям. — Она помолчала. — Хватит. Вылезай. Неси.

Кошку принесла Шимма. Её саму вынес из таверны Олл, единственный раз на памяти Тавьера: сойти со стойки он не мог, но руки у него были длинные, и он передал Шимму через доску Хинн, а Тавьер у двери посадил её в кресло, на нарост, который сразу жадно к ней потянулся. Кошка лежала у Шиммы на коленях, завёрнутая в самую старую из шалей, тёмно-красную. Шалей на Шимме осталось три.

— На, — сказала Шимма и протянула свёрток. — Ты положи. У меня руки не достанут.

Тавьер взял.

Крэнну он держал в руках с шести лет. Тысячи рук, ступней, пальцев, ушей. Тёплая или прохладная, крэнна всегда чего-то хотела: тепла, его ладони, прочь из мешка, обратно к хозяину. Даже во сне. Даже в банках на полке. Он слышал это сквозь кожу, как пульс.

Кошка в шали не хотела ничего.

Она была тяжелее, чем при жизни. Лежала у него на руках всем весом, отдав его целиком, ничего не оставив себе. И остывала, начиная с лап. Тепло уходило из неё и не возвращалось, никуда не ползло, не искало стену. Просто уходило. Это была первая вещь за всю его жизнь, которой от него ничего не было нужно.

Он долго стоял с ней над ямой. Никто его не торопил.

Потом опустился на колени и положил её на дно, на сырую землю, в красной шали, головой к дереву. Вурха сказала: «Камней сверху. Плоских». Он положил камни. Потом засыпал землёй. Земля стучала о камни глухо и коротко, и он подумал, что слышит этот звук первый раз в жизни, а Вурха в двадцать три года слышала его двенадцать раз.

Когда он разогнулся, Вурха сидела на тележке с закрытыми глазами. Чужая рука, рука возчика, впервые за все годы, что Тавьер её знал, лежала у неё на колене спокойно, ладонью вниз.

— Хорошая была, — сказала Вурха, не открывая глаз. — Злая. Мне эту вот руку подрала в позапрошлом году, возчикову. До крови. Правильно сделала.

Она открыла глаза, сплюнула, развернула тележку и уехала, ни с кем не попрощавшись.

Ночью «Хэнниш» был пуст. Олл задремал, уронив голову на руки, то есть на самого себя, и посапывал, и пиво из забытого кувшина капало ему на живот. На стойке горела одна лампа. Под ней лежала раскрытая книга.

Шимма сидела в кресле и смотрела на книгу. Посередине, среди имён, сумм и стрелок, бумага за годы продавилась под тёплым весом и пошла мягкими волнами: неглубокая овальная вмятина, и в ней серые шерстинки и одна рыжая. Шимма их не стряхивала.

Тавьер сидел на высоком табурете напротив и не уходил. Перед ним стояла кружка тёмного с мёдом, которую Шимма налила ему сама, не спросив, «за деда».

— Под стойкой банка, — сказала Шимма, не поднимая глаз. — Твоя. За месяц.

Он нагнулся и достал. В банке было семь пальцев, смирных, сложенных аккуратно, как ложки в ящике. Сверху лежал восьмой, отдельно, совсем маленький, детский или женский, ещё влажный.

— Этот она четыре дня назад принесла, — сказала Шимма. — Последний. Уже не ела, а принесла. Положила мне на колени и легла. Вот.

Восьмой палец пошевелился, нашёл стекло и прижался к нему подушечкой, как прижимаются лбом к окну.

— Я возьму, — сказал Тавьер.

— Возьмёшь, конечно. Ты ж ничего не выбрасываешь. — Шимма помолчала. Потом подняла голову и посмотрела на него обоими глазами. — Ну. Спрашивай.

— Что?

— То, что твой отец спрашивал. Четырнадцать лет назад. Вон там стоял, где ты сидишь. Спросил, я ответила. Он кружку не допил и ушёл. В лагеря. — Шимма постучала тупым пальцем по книге рядом со вмятиной. — Он у меня записан. Все у меня записаны. Ну. Ты же за этим сидишь.

Тавьер смотрел на банку, на маленький палец у стекла. Внизу, на нижней террасе, у открытого окна сидела мать, запрокинув голову, и считала. Будет считать, когда он придёт. И завтра. И через две тысячи лет.

— Сколько стоит место? — спросил он.

Шимма засмеялась, хрипло и коротко, без всякого веселья. Олл поднял голову, мутно посмотрел на них и снова уронил её на руки.

— Мальчик. Ты у меня это спрашиваешь? Ты, крэннер, который за рыбьи головы платит медью? Таммам место от тётки досталось. Твоему деду оно бы стоило дома, двух лодок и жены. А тебе оно стоит две тысячи лет, и ты это знаешь лучше меня, потому что у тебя мать считать умеет.

Тавьер кивнул. Он и правда знал.

Шимма долго смотрела на него белым глазом, тем, которым видела, кто врёт. Потом опустила взгляд на вмятину с шерстинками и положила ладонь рядом, не касаясь, на чистое поле страницы. Шестой палец, маленький, розовый, шевельнулся и замер.

Потом она закрыла книгу. Медленно, двумя руками, как закрывают окно.

— Гуррэн открывается в пятницу, — сказала Шимма Фро. — Допуск подписывает Ойса Квелл. Она добрая. — Она посмотрела на него снизу вверх, из своих трёх шалей. — Это хуже всего.

Она отодвинула книгу к краю стойки, к остальным. Шерстинки остались внутри.

4. Один медяк на вдовью песню

Последний час Ушше достался неожиданный. Она думала, что ей расскажут про свадьбу, или про тот год, когда река замёрзла до дна и она ходила по льду над лицами, или хотя бы про мать. А голос, спокойный, неторопливый, тот самый, слов которого почти никто не разберёт, кроме того, кому он говорит, прошёл мимо свадьбы, мимо льда, мимо матери, будто листал книгу, и остановился на пирогах.

Руку ей держала чужая женщина, громкая, с крошками на подбородке, которая подрабатывала тем, что сидит у одиноких. Ушша её почти не знала. Рука у женщины была тёплая и крепкая, и это было хорошо. Больше Ушше ничего было не нужно.

Слушай, как это было.

Ушша поднялась в ту ночь в два часа, как поднималась всегда, потому что тесто не ждёт. Ноги её стояли у печки отдельно от неё, как два старых пса: в сапогах, которые она носила девяносто лет и которые за девяносто лет вросли в неё так, что кожа сапог стала её кожей, а её кожа сапогами. Снять их было нельзя. Ушша их чистила. Каждое утро, ваксой, до блеска, и сапоги от этого слегка щекотало, и они поджимали пальцы. Она была эрной, сто пятьдесят один год, широкая в груди, как бочка, и голос у неё из этой бочки выходил такой, что на нижнем мосту его называли «Ушша-колокол», а на верхнем, в Иммарре, жаловались.

Пироги у неё были трёх сортов и четвёртый. С рыбьей молокой и жареным корнем, жирные, которые надо есть над ладонью. С горькой травой и кислым сыром, для тех, кто постарше и у кого уже ничего не болит. Сладкие, с сушёной ягодой, для найров, которых она кормила почти даром, потому что найров надо кормить. И четвёртый сорт, который она называла «дрэммарик»: в него шло всё, что осталось от первых трёх, и никто не знал, что внутри, и сама Ушша не знала, и продавался он лучше всех.

В ту ночь она напекла вдвое. В ту ночь Дом Ратха открывал запись на Гуррэн, и у его дверей будет стоять пол-Тэмхи, а пол-Тэмхи хочет есть.

Под нижним мостом, когда она шла мимо с лотком на голове, горела лампа старой Ниэвы. Ушша отломила край от «дрэммарика» и бросила вниз, в воду, Вэллу.

— Сегодня запись, Вэлл! — крикнула она в воду своим колокольным голосом, и Ниэва на ступенях вздрогнула. — Ставить будешь? Не будешь. Ну и лежи.

Вэлл на дне моргнул. Ушша приняла это за «нет».

Дом Ратха стоял на той средней террасе, которую никто не мог поделить, длинный, серый, с узкими окнами, и из окон всю ночь доносился скрип перьев. Ушша любила этот скрип. Ей казалось, что там, внутри, кто-то очень старательно вяжет. Народу у дверей было уже много: вэрники со стульчиками, лэйны в одеялах, пахнущие дымом и дорогой, мальчишки, старики, зеваки, и все хотели есть и делали вид, что не хотят. Ушша поставила лоток на парапет, сдёрнула мокрую тряпку и набрала воздуху.

— ПИРОГИ! — сказала она.

У эрна, стоявшего рядом, отскочила пуговица с жилета и покатилась по камням. Пуговица была мёртвая, деревянная, хорошая, и эрн проводил её глазами, а поднимать не стал: не мог наклониться. Ушша подняла сама и отдала ему вместе с пирогом, за полцены, за беспокойство.

Торговля пошла. Пироги уходили, как в воду: молочные лэйнам, горькие старикам, сладкие мальчишкам, «дрэммарики» всем. Ушша отсчитывала сдачу, не глядя, и слушала. Слушать она любила больше, чем продавать. У дверей Ратха в то утро говорили только об одном.

— Сорок мест, а свободных, говорят, девять. Остальное Дома заранее подписали.

— Тэнгорров наследник идёт. Сам. С охраной.

— С охраной в Дрэммар, вот умора. Его там стена с охраной вместе и приберёт.

— А тощий-то, тощий, у самой двери стоит, видишь? С полуночи стоит. Крэннер. Нимов. Это который кошку Шиммину закапывал.

Ушша посмотрела. У двери, прижавшись к стене плечом, стоял длинный худой парень в рубахе, застёгнутой до горла, и смотрел в землю. Она его знала. Она знала всех, кто когда-нибудь ел её пироги, а этот ел мальчишкой, сладкие, и всегда брал два, один для матери. Она вспомнила тот вечер у «Хэнниш», три дня назад: как держала пирог в поднятой руке, как хотела крикнуть кому-то, и как улица вдруг замолчала, и как этот мальчишка стоял в дверях над старой Шиммой и кошкой, бледный, как простыня у хорошей прачки. Она тогда положила на порог свой пирог. Сама не знала зачем. Рука положила.

— За мать идёт, — сказал кто-то. — У Мэввы Ним лёгкие срослись. Двадцать лет сидя спит.

— Ставлю медяк, что не впишут.

— Впишут. Ойса всех вписывает.

— Ставлю три, что до третьего дойдёт.

— До третьего и я дойду.

Ставки принимал Хорт, гладкий вэрник с крашеным зубом в губе, тот самый, которого Шимма выставила за кошку. Он ходил в толпе с дощечкой и угольком, улыбался всем крашеным зубом и выкрикивал вполголоса: «На тощего — один к сорока! Один к сорока на крэннера!» Ушша сто лет ни на что не ставила. Она считала, что ставки для тех, кому некуда девать руки, а у неё руки были в тесте. Но в то утро, сама не понимая почему, она поймала Хорта за рукав.

— На тощего, — сказала она. — Пирог.

— Тётка Ушша, я пирогами не беру.

— Возьмёшь, — сказала Ушша колоколом, и Хорт, оглохнув на одно ухо, записал: «Ушша, нижний мост, на Нимова, один пирог (горький)», и взял пирог, и съел его тут же, и сказал, что ставка принята.

Потом пришёл рыжий. Длинный, тощий, но не так, как крэннер, а весело, будто его растянули нарочно, ради смеха. На запястье у него была бечёвка с узелками. Он встал перед лотком, посмотрел на пироги, как смотрят на любимую девушку, на которой не могут жениться, и вывернул карманы. Карманы были пустые.

— Тётка, — сказал он. — Я всё поставил. На себя. До последней монеты. Дай пирог в долг, я тебе с приза отдам.

— С какого приза?

— С Гуррэна, — сказал рыжий честно. — Я иду.

— Ты? — Ушша оглядела его с ног до головы. — Тебя стена на первом ярусе выплюнет. Ты невкусный.

— Вот! — обрадовался рыжий. — Вот и я говорю! Значит, дойду. — Он подумал и добавил: — А если не дойду, я тебе песню спою. Вперёд. Задатком.

И, не дожидаясь разрешения, запел. Он пел про вдову мельника, у которой было три жениха и одна мельница, и пел так громко и так ужасно, что лэйны в одеялах обернулись, вэрники заткнули уши, а эрн с пуговицей выронил пирог. Голос у рыжего был как у осла, которому наступили на хвост и который этим доволен. Ушша слушала, и у неё задрожал подбородок, и она поняла, что сейчас засмеётся, а смеяться при покупателях нельзя, и засмеялась. Смех у неё был ещё громче, чем голос. Где-то на верхней террасе хлопнули ставни.

— Бери, — сказала она, вытирая глаза. — Бери, только замолчи. Бери два. Бери «дрэммарик», чтоб ты знал, что внизу ждёт.

Рыжий взял, поклонился, как кланяются на ярмарке канатоходцы, и ушёл в толпу, жуя и напевая с полным ртом. Ушша смотрела ему вслед и думала, что такого не впишут, а потом думала, что впишут, и что жалко, и что пусть, и что надо было дать ему три.

Потом был старик-лэйн. Он стоял у самой стены, в одеяле, прожжённом в трёх местах, с бородой, заплетённой в косичку, чтобы не мешала, и держал за щекой деревянный номерок, как держат леденец. Номерок у него был восьмой. Ушша видела, как ему ещё ночью выдали его из окошка, и как он сунул его в рот, и как с тех пор не вынимал: боялся, что украдут. Говорить он из-за номерка не мог, только мычал и показывал пальцем. Он показал на «дрэммарик».

— Сорок лет? — спросила Ушша, протягивая пирог. Она знала эти лица. Лагерные лица, обветренные, терпеливые, с глазами, которые смотрят всё время чуть мимо, на дорогу.

Старик поднял четыре пальца. Потом подумал и поднял ещё половину пятого.

— Сорок с половиной во вэрру стоишь, а теперь в шахту, — сказала Ушша. — Ну и правильно. Хоть ноги разомнёшь. Ешь, денег не надо.

Старик посмотрел на пирог, потом на неё, и Ушша поняла, что он не может откусить, потому что во рту у него номерок. Он стоял и смотрел на пирог, и на лице у него было такое горе, что Ушша захохотала колоколом на всю террасу, и старик тоже засмеялся, беззвучно, трясясь бородой, держа пирог обеими руками. Потом он осторожно переложил номерок за другую щеку и откусил с того края. Номерок так и не вынул. Ушша смеялась ещё долго, а потом, когда он отошёл, вдруг подумала, что, может, у него где-нибудь в Тэмхе есть сын, и сын даже не знает, что отец стоит тут, у стены, с номерком во рту, сорок с половиной лет. Подумала и забыла. Пироги сами себя не продадут.

Ближе к рассвету, когда небо над воронкой из чёрного стало синим, а потом серым, к лотку подошла девушка.

Девушка была из Иммарра. Это было видно сразу, по коже, по походке, по тому, как на неё оглядывались. И по плащу. Плащ на ней был тёмно-синий, тяжёлый, до самых пят, и весь, сверху донизу, расшит серебром: птицы, колёса, ключи, ладони, лестницы, всё разное, всё вперемешку, будто его вышивали тридцать человек, и каждый своё. Плащ был ей велик. Он тянул её назад, как тянет течение, и она шла против него, чуть наклонившись вперёд. Она остановилась перед лотком и стала смотреть на пироги, и смотрела долго, и шевелила губами.

— Два, — сказала она вслух, ни к кому не обращаясь. — Два много. Ты не съешь два. Один мало, ты голодная с вечера. Полтора нельзя, кто продаёт полтора. Значит, два. — Она подумала. — Значит, два, а один отдашь. Договорились. — И кивнула себе, серьёзно, как кивают на рынке, когда сошлись в цене.

Ушша дала ей два сладких. Девушка заплатила, не торгуясь, хотя только что торговалась с собой полминуты, и тут же, не отходя, отдала один пирог мальчишке-лэйну, который стоял у лотка уже час и смотрел на пироги так же, как она. А второй надкусила. Пожевала. Закрыла глаза. И протянула Ушше обратно.

— Вам, — сказала она. — Вы с ночи не ели. Я по вам вижу. Вы всем продаёте, а себе не оставили.

Ушша взяла. Она не знала, что сказать. Ей сто лет никто не дарил её собственного пирога.

Девушка уже ушла к дверям Ратха, против течения своего плаща, и было слышно, как в плаще у неё что-то тихонько звенит. Колокольчик, что ли.

Двери открылись на рассвете. Толпа качнулась, загудела, и тощий крэннер вошёл первым, не поднимая головы, а за ним рыжий, жуя, а за ним другие. Девушки в плаще Ушша больше не видела. Пироги кончились к полудню, все, до последнего «дрэммарика», и Ушша сложила мокрую тряпку, перевернула пустой лоток и села на парапет, на солнце, вытянув ноги в сапогах, которые грелись и тихонько поджимали пальцы от удовольствия.

В руке у неё был тот пирог. Сладкий, надкусанный с одного края. Она откусила с другого.

Пирог был хороший. Она пекла их сто тридцать лет, и этот был хороший. Солнце стояло над воронкой, и над шахтой поднимался тёплый воздух, медленно, будто внизу кто-то спал. Где-то позади, в Доме Ратха, скрипели перья, вписывая имена. Хорт где-то записал её пирог на тощего крэннера. Рыжий где-то пел про вдову мельника, и кто-то просил его замол-

чать. Девушка в плаще где-то спорила с кем-то о чём-то, Ушша была в этом уверена. Мальчишка-лэйн где-то доедал свой. И Ушша сидела на парапете, жевала и думала, что никого из них она больше, наверное, не увидит, и что это ничего, потому что она их видела.

Женщина с крошками на подбородке держала её руку и не отпускала. Голос, который рассказывал, замолчал, давая ей доесть.

Хороший был день, подумала Ушша.

Это было последнее, что она подумала.

5. Бесшумное перо старшей ратхины

Дом Ратха стоял на той террасе, про которую город так и не решил, чья она. Снизу её считали Иммарром, потому что там мыли ступени. Сверху её считали Тэмхой, потому что ступени всё равно пахли рыбой. Здание было длинное, серое, с узкими окнами, похожими на прорези в копилке, и всю ночь из него доносился один и тот же звук: где-то внутри скрипели перья. Не одно и не десять. Тавьер простоял у двери с полуночи и к рассвету научился различать в этом скрипе отдельные руки, как различал крэнну на улице Харров: вот торопливая, вот старая, вот та, что ставит в конце строки жирную точку, будто прибивает гвоздь.

Толпа начала собираться ещё затемно. Сначала пришли вэрники, с раскладными стульчиками и фонарями, потом лэйны из лагерей, в одеялах, пахнущие дымом и долгой дорогой, потом просто зеваки, которым нужно было на что-нибудь смотреть. С нижнего моста поднялась торговка с лотком, закутанным в мокрую тряпку, и закричала про пироги таким голосом, что у стоявшего рядом эрна отвалилась пуговица. Пуговицу никто не стал поднимать. Пуговицы в Ирмауне были мёртвые, и это делало их почти драгоценностью.

— Тощий, — сказал кто-то за спиной Тавьера. — Вот этот, у двери. Крэннер. Ставлю два медяка, что его не впишут.

— Впишут, — ответил другой голос. — Ойса всех вписывает. Ставлю три, что он дойдёт до третьего.

— До третьего и я дойду. Ты скажи, до какого не дойдёт.

Тавьер не обернулся. Он стоял, прижав левое плечо к холодному косяку, потому что косяк был единственным, что не смотрело на него. Под рубашкой пятно коры отзывалось на холод, как отзывается старый ушиб: не болью, а напоминанием. Он думал о том, что ушёл из дома, не попрощавшись. Мать не спала, она не спала никогда, она сидела на своём высоком стуле у окна и считала вслух, и, когда он проходил мимо с ботинками в руке, она сбилась на сорок первом вдохе и сказала:

— Шарф возьми. Утром холодно.

Он не взял. Шарф лежал по всей кухне кольцами, и, чтобы взять его, пришлось бы отрезать, а отрезать от этого шарфа было нечем и незачем. Мать знала это не хуже него. Она просто хотела, чтобы последнее слово в кухне осталось за ней. Сорок второй вдох догнал его уже на лестнице.

Двери открылись, когда солнце дошло до третьей террасы. Изнутри выглянул ратхин, молодой, с проступившей на щеке корой, похожей на карту несуществующей страны, и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Номерки.

Номерки были деревянные, тёплые от чужих рук, их раздавали из корзины. Тавьеру достался седьмой. Человеку за ним, старому лэйну в одеяле с бахромой, восьмой, и старик долго смотрел на свою деревяшку, а потом сунул её за щёку, как конфету, и улыбнулся беззубым ртом.

— Чтоб не украли, — объяснил он. — Сорок лет стою во вэрру. Ни разу ничего не выиграл. А тут номер. Восьмёрка! Хорошая цифра, круглая с двух сторон.

Тавьер посмотрел на него внимательнее, чем следовало. Он смотрел так на каждого старого лэйна последние четырнадцать лет, с тех пор как отец ушёл в лагеря встать во вэрру за себя: на подбородок, на брови, на то, как человек держит голову. Отцу сейчас было бы за шестьдесят, найры в лагерях седеют рано, и всё же Тавьер был уверен, что узнал бы его по одной манере чесать переносицу. Этот старик чесал не переносицу, а ухо. Тавьер отвернулся и почувствовал знакомое облегчение, за которое ему каждый раз было стыдно.

Внутри Дом Ратха оказался выше, чем снаружи. Это было невозможно, и Тавьер решил, что это не так, но потолок всё равно уходил вверх в темноту, и по стенам до самой темноты стояли полки, а на полках книги, толстые, в коже, с номерами на корешках. Книги шевелились. То есть не шевелились, конечно: просто в них было так много имён, что от них шёл звук, тот самый скрип, и казалось, что под обложками кто-то переворачивается во сне. Пахло чернилами, воском и лаххом, которым здесь натирали не людей, а переплёты, чтобы кожа не трескалась. Свет из узких окон падал вниз косыми полосами, и в полосах висела пыль, золотая, медленная, как пыльца над летней водой. Тавьер засмотрелся на неё и поэтому не сразу увидел того, кто сидел под ней.

За первым столом у входа писал ратхин. Писал он, по всей видимости, очень давно. Стол врос в него снизу, или он врос в стол, по этой мебели уже невозможно было понять, кто кого начал. Правая рука ратхина лежала на столешнице и двигалась, а пальцы её до второй фаланги ушли в чернильницу и пустили там корни: когда рука вела строку, чернила текли прямо из ногтей, тёмные, ровные, и строчка выходила красивая, с наклоном, какой давно никто не умеет. Лицо у ратхина было спокойное и смотрело чуть выше людей. Перед ним лежала книга, раскрытая на середине, и в неё он вписывал номерки, по одному, не поднимая глаз.

— Седьмой, — сказал он, и голос у него был такой, будто шёл не изо рта, а из-под пола. — Ним. Крэннер. Найр. Проходите. Второй коридор. Дверь с цветком.

Тавьер не говорил ему своего имени. Он хотел спросить, откуда тот знает, но ратхин уже вписывал восьмого, и старик-лэйн, вынув номерок из-за щеки, протянул его мокрым.

Во втором коридоре на скамьях сидели люди, и все они ждали одного и того же, хотя каждый ждал по-своему. Широкая женщина в переднике красильщицы, с руками, синими до самых локтей, держала на коленях узел и гладила его, как кошку. Двое братьев, похожих друг на друга до неприличия, спорили шёпотом, кто из них пойдёт, хотя было ясно, что пойдут оба. Парень лет девятнадцати, рыжий, длинный, с плечами носильщика, сидел, вытянув ноги через весь проход, и негромко пел что-то, в чём не было ни одной верной ноты. Пел он с таким удовольствием, что женщина с узлом перестала гладить узел и посмотрела на него, как смотрят на ребёнка, который наступил в лужу нарочно.

— Это песня про вдову мельника, — объяснил рыжий, перехватив взгляд Тавьера. — Ты её не узнал, потому что я пою лучше оригинала.

— Я её узнал, — сказал Тавьер.

— Врёшь. Её никто не узнаёт. Я её сам придумал вчера, — рыжий широко улыбнулся и подобрал ноги, освобождая проход. — Садись. Тут удобно, если не думать.

Тавьер сел на край скамьи. Рыжий пах потом, верёвкой и тем дешёвым лаххом, который продают у моста в бумажках. На запястье у него был намотан грязный обрывок бечёвки с узелками, и он перебирал узелки пальцами, один за другим, по кругу, как перебирают в уме долги. Тавьер знал его, как в Тэмхе знали всех, кто шумит: по голосу раньше, чем по лицу. Носильщик с нижнего рынка, тот, что поёт под мешками. Тавьер хотел спросить, зачем ему туда, но не спросил, потому что сам не хотел, чтобы спрашивали его.

Из бокового прохода вынырнул человек с кожаной папкой под мышкой и чуть не налетел на вытянутую ногу рыжего. Человек был худой, аккуратный, в сером сюртуке писаря, с гербом Тэнгорра на пуговицах: три сомкнутые ладони. Он извинился, поднял глаза, и Тавьер увидел, как в этих глазах сначала ничего не произошло, а потом произошло всё сразу.

— Тавьер?

— Рэнхан.

Они не виделись два года, может, три. В детстве они делили один хлеб и одну крышу над прачечной, где сохло бельё Мэввы и где можно было лежать на спине и смотреть, как простыни надуваются, словно паруса в стране, где никто не бывал. Потом мать Рэнхана начала срастаться со стулом, и Дом Тэнгорр взял его на службу, а вместе со службой и лахх для неё, и Рэнхан ушёл

наверх, в Иммарр, и стал носить сюртуки. Он похудел. У него появилась привычка поправлять манжету, хотя манжета лежала ровно.

— Ты что здесь делаешь? — спросил Рэнхан и тут же сам понял, что вопрос глупый, и покраснел. — Ты? Туда?

— Мама, — сказал Тавьер.

Рэнхан помолчал. Поправил манжету.

— У меня тоже мама, — сказал он тихо, и это прозвучало не как жалоба и не как оправдание, а как то, что говорят друг другу двое у одной постели. Потом он похлопал по папке. — Я допуски принёс. От Дома. Уже подписанные.

— Сколько?

Рэнхан посмотрел на скамьи, на красильщицу с узлом, на братьев, на рыжего. Понизил голос.

— Не спрашивай. Тебя впишут, места ещё есть. Девять, кажется. Или восемь, если Салварр пришлёт своих после обеда.

Девять из сорока. Тавьер повторил это про себя и не почувствовал ничего, кроме того, что косяк у двери был холодным, а скамья тёплой. Где-то наверху, в Иммарре, Дома ещё весной разложили по папкам тридцать один спуск, тридцать один конец или начало, и отдали их тем, кто будет идти за наследниками и нести их поклажу, и Ойса Квелл подписала их, должно быть, в один вечер, не вставая из-за стола.

— Лёгкого тарха твоей маме, — сказал Рэнхан. Это было обычное прощание, его говорили все и всем, но Рэнхан сказал его так, будто имел в виду каждое слово. Потом он ушёл, и папка под мышкой выглядела тяжелее, чем могла быть.

Рыжий проводил его взглядом.

— Друг?

— Был.

— Друзья не бывают «были». Они либо есть, либо у них сюртук, — рыжий хмыкнул. — Меня, кстати, зовут Ляр. Но все говорят Трэнь. Не спрашивай почему, это долгая история про лошадь, колокол и мою бабушку, и в ней никто не выглядит хорошо.

— Тавьер.

— Знаю. Про тебя у входа ставят. Я поставил на тебя медяк. А на себя всё остальное, — Трэнь похлопал по карману, в котором ничего не звякнуло. — Если дойдёшь, угостишь. Если не дойдёшь, я угощу тебя там, внизу. Там, говорят, всё бесплатно.

Дверь с цветком открылась. Цветок был нарисован на ней краской, давно облупившейся, и походил скорее на чью-то растопыренную ладонь. Из-за двери вышла женщина с узлом. Она больше его не гладила. Она шла, глядя прямо перед собой, и, проходя мимо скамьи, вдруг уронила узел, и из него на пол выкатились детские башмаки, маленькие, сношенные, мёртвые, такие, какие в Ирмауне не шьют уже сто сорок лет. Она подняла их по одному, без спешки, сложила обратно и ушла. Никто ничего не сказал.

— Седьмой, — позвали из-за двери.

Кабинет оказался маленьким, меньше прачечной, в которой Мэвва когда-то работала, и после огромного зала в нём было тесно, как в кармане. Стол, два стула, шкаф с папками, и окно. Окно выходило прямо на воронку. Отсюда, с середины города, Дрэммар был виден весь, сколько его вообще можно увидеть: широкий край, ярмарочная площадь с крошечными фигурками мэйруков, присевших на корточки у самой кромки, а за ними темнота, ровная и спокойная, как вода в колодце, только колодец этот был шире улицы и глубже всего, что Тавьер мог себе представить, и он не стал пытаться. По карнизу снаружи ползла крэнна, левая кисть, старая, с распухшими суставами, и постукивала ногтем по стеклу, как стучат, когда не уверены, что дома кто-то есть. Тавьер машинально отметил: шестой палец пришит, шов грубый, работа не ваймера, а кого-то из нижних. Надо будет снять, пока не свалилась на площадь.

На подоконнике, с этой стороны стекла, стояла чашка без ручки, а в чашке цветок. Цветок был мёртвый. Совсем мёртвый, по-настоящему: стебель побурел и согнулся, лепестки высохли до бумажного шороха и стали цвета старой кожи, один упал и лежал рядом с чашкой. В Ирмауне цветы умирали так же, как всегда, и на это ходили смотреть, но мало кто держал мёртвый цветок у себя. Это было всё равно что держать дома открытую рану. Или окно, из которого дует.

— Садитесь, — сказала Ойса Квелл.

Она сидела за столом прямо, сложив руки на бумагах, и была такой, какой Тавьер её себе не представлял. Он думал, что старшая ратхина окажется старой, но она была найра, лет сорока пяти, с узким лицом и гладко зачёсанными волосами, в которых не было ни одной седой пряди, потому что у найров седины почти не бывает. Платье на ней было серое, с высоким воротом, и на воротнике у горла темнел маленький бугорок, едва заметный, как родинка. Кора. Тавьер знал это место у себя на плече и сразу узнал его у другого. Она поймала его взгляд, и он отвёл глаза.

— Ним, — сказала она, глядя в бумагу. — Тавьер. Сто семнадцатый год после Шаймарра. Крэннер. Найр. Проживаете на нижней террасе Тэмхи, над Мокрым спуском, сорок две ступени, дом с синей дверью. Всё верно?

— Дверь уже не синяя.

— Я исправлю, — сказала Ойса Квелл и действительно исправила: зачеркнула одно слово тонкой чертой и написала над ним другое. Тавьер не увидел, какое. Почерк у неё был мелкий и ровный, буквы стояли тесно, плечом к плечу, как люди, которые давно привыкли стоять рядом и не толкаться. — Чего просите?

— Тарх.

— Для кого?

— Для матери. Мэвва Ним. Сорок шесть лет. Найра.

Она записала. Потом спросила, кто будет хэйрой, кто будет держать руку, и он сказал «я», и она записала и это. Потом спросила, умеет ли он читать, и он сказал, что умеет, и она кивнула, как будто это было не так уж и важно, но нужно было спросить. Перо у неё не скрипело. Это было первое бесшумное перо во всём здании.

Потом она отложила его и подняла глаза.

— А ей больно?

Вопроса этого не было в бумаге. Тавьер видел бумагу вверх ногами и видел, что графы там кончились на хэйре. Ниже было место для подписи и ещё одна строка, совсем без заголовка, пустая. Он открыл рот и понял, что не знает, что ответить, потому что никто никогда его об этом не спрашивал. Соседи спрашивали, как она. Шимма спрашивала, сколько он ещё протянет на своих банках и чужих руках. Вурха спрашивала, спит ли он. А больно ли ей, не спрашивал никто, даже он сам, потому что ответ был слишком простой и не помещался ни в один разговор.

— Она не может лежать, — сказал он наконец. — Двадцать лет. Лёгкие срослись. Если ляжет, захлебнётся. Спит сидя, на высоком стуле, у окна. Считает вдохи. Вслух. Чтобы не забыть, как это делается. Иногда ночью сбивается и начинает сначала, и тогда… — он остановился. — Да. Больно.

Ойса Квелл ничего не записала. Она смотрела на него ещё некоторое время, и в её лице не было ни жалости, ни любопытства, а было что-то другое, сухое и внимательное, как у человека, который сверяет цифры и находит, что они сходятся, хотя очень хотел, чтобы не сошлись.

— Спасибо, — сказала она.

Потом снова взяла перо и заговорила ровно, так, как, наверное, говорила уже сотни раз, по сорок раз в год:

— Сорок человек. Девять дней, один ярус в день. Убивать нельзя, но можно отдать стене. Вы понимаете, что это значит?

— Понимаю.

— Не думаю, — сказала она без всякого выражения. — Но так отвечают все. Дальше. До дна доходят двенадцать первых. Остальные… — она чуть помедлила, и Тавьеру показалось, что она подбирает слово и не находит такого, которое можно было бы сказать вслух, — остальные не доходят. Ни Дом Ратха, ни город, ни кто-либо из участников не обязан вам помогать. Вы идёте сами и отвечаете сами. Вот здесь.

Она развернула к нему бумагу и подала перо. Перо было тёплое. Тавьер расписался, как расписывался на квитанциях за лахх, коротким крюком, и крюк вышел кривым, потому что рука у него вдруг перестала его слушаться, как слушаются, наверное, только руки на полках: делала то, что помнила, а не то, что он хотел.

Ойса Квелл посмотрела на подпись, промокнула её, но бумагу к себе не забрала. Она лежала между ними.

— До рассвета третьего дня, — сказала ратхина, — бумагу можно забрать назад. Никто об этом не узнает. Я вычеркну так, что следа не останется. Вас не будут считать трусом, потому что никто не будет знать, что вы приходили. Ставки у входа сгорят, только и всего.

Тавьер смотрел на неё и вспоминал, как Шимма сказала в «Хэнниш», ещё не убрав со стойки миску с остывшим молоком, из которого Шарш уже никогда не будет пить: она добрая, это хуже всего. Тогда он не понял. Теперь понял. Ойса Квелл предлагала ему ровно то, что он умел лучше всего на свете: отойти в сторону, стать незаметным, отпустить. Она предлагала это вежливо, сухо и от всего сердца, и именно поэтому ему захотелось согласиться так сильно, что заныли зубы.

— Не надо, — сказал он.

— Хорошо, — ответила она так же ровно, как отвечала на «дверь уже не синяя». Забрала бумагу, положила сверху стопки. Стопка была невысокая. Под ней, в ящике стола, оставалась щель шириной в палец: ящик был задвинут не до конца, и из щели выглядывал угол листа, исписанного не тем почерком, каким она заполняла допуски. Строки там были короткие, неровные, с пустыми местами между ними, как бывает, когда пишут не для того, чтобы кто-то прочёл. Тавьер разобрал только конец одной строки, потому что его глаз, привыкший искать в темноте шевеление, цеплялся за всё, что торчало: «…а ростом всё с тот же порог».

Ойса Квелл задвинула ящик коленом, не опуская глаз, плавно, словно поправила складку платья.

— Цветок, — сказал Тавьер, не очень понимая, зачем говорит. — Он умер.

— Он закончился, — поправила она. — В позапрошлый Сулэйн. Мне его принесли. Я не стала выбрасывать.

— Я тоже ничего не выбрасываю.

— Я знаю, — сказала Ойса Квелл. — Вы крэннер.

На мгновение ему показалось, что сейчас она улыбнётся, но она не улыбнулась. Она посмотрела на его левое плечо, туда, где под рубашкой и курткой лежало пятно, и посмотрела дольше, чем смотрят на плечо, на котором ничего нет. Тавьер почувствовал этот взгляд кожей, как чувствуют сквозняк.

— Вам холодно? — спросила она. — Вы всё время держитесь за плечо.

Он опустил руку. Он не замечал, что держится.

— Нет.

— Хорошо, — снова сказала она и что-то отметила в той самой строке без заголовка, внизу, коротко, одним движением. Он не разглядел что. Потом подняла голову. — Участники едят в «Ваммэ», с сегодняшнего вечера и до спуска. Там кормят бесплатно. Хозяин задаст вам

один вопрос у двери. Отвечайте честно, иначе вам принесут то, что вы заслужили, а не то, что хотели. Спуск на рассвете третьего дня. Колокол вы услышите. Его слышат все.

Она встала, и он понял, что пора уходить, и тоже встал, и стул под ним скрипнул, единственный звук в этой комнате, если не считать стука крэнны по стеклу. У двери он обернулся. Ойса Квелл стояла у окна, спиной к нему, и смотрела вниз, на воронку, и мёртвый цветок в чашке был ровно на уровне её руки. Она не трогала его. Она просто стояла рядом с ним, как стоят рядом с тем, кто спит, когда боятся разбудить.

— Спасибо, что спросили, — сказал Тавьер. — Про больно.

Она не повернулась.

— Меня об этом никто не просил, — ответила Ойса Квелл, и он так и не понял, что она имела в виду: что спрашивать её не просили или что её саму никто не спрашивал.

В коридоре было шумно. Трэня на скамье уже не было, его голос, фальшивый и счастливый, доносился откуда-то из глубины здания, из-за другой двери, где, по всей видимости, его тоже о чём-то спрашивали, и он отвечал песней. Братья спорили уже не шёпотом. Старик-лэйн с восьмым номерком спал сидя, открыв рот, и номерок лежал у него на языке.

В конце коридора, там, где он поворачивал к выходу, стояли весы. Тавьер видел такие на рынке: две медные чаши на цепях, большие, в каждую поместился бы ребёнок, если бы в Ирмауне было столько детей, чтобы их взвешивать. Рядом с весами стоял ратхин, полный, лысый, с рыжими от чернил пальцами, а на латунной табличке над его головой было вырезано правило, старое, с полустёртыми буквами: «Не больше, чем унесёшь сам за девять дней». Одна чаша была пуста, на другой лежали гири, а между ними, загородив проход целиком, стояла девушка в плаще.

Плащ был невозможный. Он был тёмно-синий, тяжёлый, до пола, и снаружи по всему подолу шла вышивка серебром: не узор, а много маленьких узоров, разных, каждый своей рукой, птица, ключ, ладонь, какие-то буквы, колесо, лестница, и ни один не повторялся. Изнутри плащ был подбит чем-то, что шуршало и звенело одновременно. Плащ весил, судя по лицу ратхина, как хороший мешок муки.

— Это не поклажа, — говорила девушка. — Это одежда. Одежду не взвешивают. Вы же не взвешиваете мои уши.

— Уши у вас одежда? — спросил ратхин устало, и Тавьер понял, что разговор идёт давно.

— Уши у меня свои. А плащ мне сшили тридцать человек, и если я его оставлю, то я оставлю тридцать человек, а их я не унесу и подавно, так что, если рассуждать честно, я несу меньше, чем могла бы. Вы должны мне скидку.

— Снимите, пожалуйста, и положите на чашу.

— Не сниму, — сказала девушка и тут же, не меняя голоса, заговорила сама с собой, громко, деловито, как торгуются на рынке, где обе стороны один человек: — Ладно. Хорошо. Если он скажет, что больше половины меня, я выпорю из подола тётину птицу. Нет, птицу нельзя, тётя заплачет. Выпорю колесо. Колесо дядино, дядя не заметит, он думает, что колесо его прадеда. Если скажет, что больше двух третей, выпорю колесо и лестницу. Если скажет, что больше меня целиком, то я не знаю. Тогда я его поцелую, и он собьётся.

Ратхин покраснел до самой лысины.

— Барышня Веш…

— Покажу, — решительно сказала девушка. — Вот смотрите. Тут почти ничего нет.

Она взялась за полы обеими руками и крутанулась на месте, распахивая плащ, чтобы показать подкладку, и Тавьер, который в эту секунду проходил за её спиной, вжимаясь в стену, как привык проходить мимо всего, что занимает много места, успел увидеть, что подкладка изнутри вся расшита маленькими кармашками, а из кармашков торчат пряди волос разных цветов, сухие травы, кусочки чего-то белого, похожего на зубы, и один-единственный коло-

кольчик. Потом плащ, разогнанный всей тяжестью тридцати человек, описал полный круг и ударил его в грудь, как дверь, распахнутая сквозняком.

Он упал. Упал глупо и сразу, спиной на каменный пол, так что из него вышибло весь воздух, и на мгновение он, как мать, забыл, как это делается: вдохнуть. Колокольчик в подкладке звякнул один раз, тонко, и замолк. Над ним, очень высоко, под потолком, скрипели перья.

Потом между ним и потолком появилось лицо. Круглое, живое, с острым носом и встрёпанной чёлкой, без единого пятна коры, лицо человека, на которого всю жизнь смотрели, и который поэтому научился смотреть в ответ. Девушка стояла над ним на коленях, всё ещё в плаще, и плащ лежал вокруг них обоих, как палатка.

— Ой, — сказала она. — Нет. Подождите. Не вставайте. Сколько пальцев?

Она показала ему ладонь, растопырив все пять.

— Пять, — сказал Тавьер, когда вернулся воздух.

— Правильно, — она выдохнула с таким облегчением, будто это был трудный вопрос. Потом повернулась к ратхину, не вставая с колен. — Видите? Плащ лёгкий. Человека с ног сбивает, а сам ничего не весит. Запишите: одежда.

6. Запах сорока детств

«Ваммэ» стояла на самом краю ярмарочной площади, так близко к Дрэммару, что задняя стена у неё была общая с бортиком шахты, и в сильный ветер посуда на полках начинала тихо звенеть, отзываясь чему-то внизу. Снаружи это был обыкновенный низкий дом с закопчённой трубой и вывеской без букв: на доске была нарисована миска, а над миской три волнистые черты пара. Буквы там когда-то были, но их соскоблили, потому что каждый, кто входил, всё равно читал на доске своё.

У двери стоял хозяин.

Звали его Тумм Оссэ, и он был эрн, такой старый, что о его возрасте в Тэмхе не спорили, как не спорят о возрасте лестниц. Он был огромный, рыхлый, в белом переднике до пола, и правая рука у него давно срослась с деревянным половником: черенок ушёл в ладонь, а дерево у края запястья потемнело, пошло тонкими трещинками и переходило в кожу так плавно, что нельзя было сказать, где кончается одно и начинается другое. Этой рукой Тумм пробовал всё, что варил, прямо из котла, и, говорят, чувствовал вкус половником лучше, чем языком. Левой рукой он придерживал дверь.

— Что ты ел, когда был счастлив? — спросил он у Тавьера.

Голос у него был тихий и ласковый, как у человека, который всю жизнь разговаривает над котлом с тем, что в нём булькает. Тавьер открыл рот, чтобы ответить что-нибудь, что отвечают, «пироги» или «рыбу», и вспомнил, что говорила Ойса Квелл. Отвечайте честно.

— Не помню, — сказал он.

Тумм посмотрел на него. Глаза у хозяина были маленькие, светлые, утонувшие в складках, и в них ничего не изменилось. Он кивнул, словно услышал именно то, что ожидал, и отступил, пропуская.

— Честно, — сказал он. — Садись где хочешь. Хочешь не там, где хочешь, тоже садись.

Внутри было тепло, низко и людно. Потолок висел так низко, что высокие пригибались, и с балок на крюках свешивались котелки, сковороды и пучки сушёных трав. Столы стояли длинные, в два ряда, некрашеные, выскобленные добела, и на каждом горели плошки с жиром. Но главным был запах. В «Ваммэ» пахло не едой, а сорока детствами сразу: сладкое, подгоревшее, кислое, жирное, молочное, рыбное, острое, медовое, всё вперемешку, и каждый, кто входил, останавливался на пороге и потягивал носом, отыскивая в этом облаке своё, как отыскивают в толпе знакомое лицо.

Под одним из столов, у стены, лежала крэнна. Тавьер заметил её сразу, по привычке, раньше людей: две кисти, сросшиеся запястьями в одну, с пальцами в обе стороны, похожие на большого бледного паука. Они лежали в тепле у печного бока и время от времени перебирали пальцами по полу, медленно, как гладят спящую собаку. Никто их не трогал. В «Ваммэ», по всей видимости, это считалось частью обстановки.

— Пять пальцев! — крикнули ему из глубины зала.

Он вздрогнул. За дальним столом, у самой стены, где пол был выше и от печи шло больше тепла, сидела девушка из коридора. Плащ она сняла и свернула, и он лежал рядом с ней на скамье, огромный, как спящий человек, а сама она оказалась высокой и худой, в простой рубашке, и из рукава у неё торчала салфетка, засунутая туда, должно быть, ещё дома и забытая. Она махала ему обеими руками. Рядом с ней, вытянув ноги через проход, сидел Трэнь и тоже махал, хотя, судя по лицу, понятия не имел зачем.

Тавьер не любил, когда ему машут. Махать значило, что на тебя смотрят, а на тебя смотрят, значит, ты занимаешь место. Он сделал вид, что не услышал, и пошёл к ближнему столу, где было пусто и темно.

— Не притворяйся! — крикнула девушка. — Я тебя сбила с ног! Это нас связывает навсегда! У нас в доме за меньшее женятся!

Половина зала обернулась. Тавьер почувствовал, как у него горят уши, и понял, что проще дойти, чем стоять под этими взглядами, и пошёл. Девушка подвинула плащ, и плащ звякнул колокольчиком.

— Садись, — сказала она. — Я Ульма. Ульма Веш. Не смотри так, я не виновата, что Веш. Я пробовала быть кем-нибудь другим, но меня всё равно находили по плащу.

— Тавьер.

— Я знаю. Ратхин у весов сказал, когда ты ушёл. Он сказал: «Барышня, вы сбили с ног крэннера Нима, он хороший мальчик, у него мама». Я ему ответила, что у всех мама, а он ответил, что не у всех такая. Что у тебя за мама?

Она спрашивала всерьёз, наклонив голову, как птица, которая решает, стоит ли червяк того, чтобы спускаться с ветки. Он не знал, что ответить, и потому ответил правду, как у двери.

— Она говорит «я тебе говорила».

— Кому?

— Всем.

Ульма подумала.

— Хорошая, — решила она. — Мне нравится. У нас в доме тридцать человек, и ни один никогда не говорит «я тебе говорила». Они говорят «мы так и думали». Это хуже. Это значит, что тебе говорили не они, а все сразу, и спорить не с кем.

Трэнь перегнулся через стол и протянул Тавьеру руку, хотя они расстались всего несколько часов назад.

— А мы уже знакомы, — объявил он Ульме. — Мы сидели на одной скамье. Это нас тоже связывает навсегда. У нас на Кривой за меньшее вообще ничего не бывает, но я человек широкий.

— Он тебе нравится? — спросила Ульма у Тавьера, кивнув на Трэня.

— Не знаю ещё.

— Правильно, — сказала Ульма. — Его надо сначала послушать. Ляр, спой.

— Не надо, — сказал кто-то с соседнего стола.

— Не надо, — подтвердил кто-то из-за печи.

Но Трэнь уже встал. Он встал, выпрямился во весь свой длинный носильщицкий рост, ударился макушкой о свисающую сковороду, поймал её, повесил обратно, поклонился сковороде и объявил торжественным голосом, каким на ярмарке объявляют силача:

— Песня! О рыбаке! Который поймал рыбу! И отпустил! Но рыба вернулась! Потому что он ей задолжал!

И запел.

Петь Трэнь не умел. Он умел это так основательно, так полно и самозабвенно, что это становилось отдельным искусством, вроде умения ходить на руках. Голос у него был громкий, молодой и совершенно свободный от нот: он брал их не там, где они лежали, а там, где ему было удобно, и тащил за собой, как тащат мешок по лестнице, ступенька за ступенькой, со стуком. Плошки на столах вздрогнули. Крэнна под соседним столом подобрала все пальцы.

— Замолчи! — закричали ему из трёх мест одновременно.

— Это был первый куплет, — с достоинством сказал Трэнь. — Во втором рыба умирает.

— В Ирмауне рыба умирает лучше, чем ты поёшь! — крикнул кто-то.

Над этим засмеялись, и Трэнь засмеялся громче всех, и сел, и тут же встал снова и начал второй куплет, и его снова попросили замолчать, и он снова сел.

В этот момент перед Тавьером поставили миску.

Он не видел, кто её поставил. Тумм Оссэ двигался по залу удивительно тихо для своего тела, и только половник в его руке иногда стукал о край котла, как стучат в дверь. Миска была глиняная, тяжёлая, тёплая снизу, и в ней лежала каша.

Каша была серая, из толчёного зерна, разваренная, с комками, такая, какую варят в Тэмхе в каждом втором доме, когда больше нечего варить. Сверху лежало немного топлёного жира, уже начавшего таять. А сбоку, по краю, там, где каша прилегала к стенке котла, шла корка. Чёрная. Не тёмная, а именно чёрная, пригоревшая так, что хрустит на зубах и горчит, и пахнет дымом сильнее, чем кашей. Корку отковыряли от котла отдельным куском и положили сверху, целиком, как кладут самое лучшее.

Тавьер взял ложку. Он хотел подумать, что это просто каша, и не успел.

Запах дошёл раньше мысли. Горелое, жир, дым, и ещё что-то, чему не было названия, что-то от утра, от холодного пола под босыми ногами, от темноты за окном, когда мать ещё спит, а на печке уже стоит котелок и кто-то большой, широкий, пахнущий улицей, ругается вполголоса, потому что опять пригорело. Отец всегда сжигал кашу. Каждое утро, уходя затемно, он ставил её на огонь и забывал, и каждое утро соскребал со дна чёрную корку и не выбрасывал, а клал в миску сыну, сверху, и говорил: «Корка тому, кто встал раньше. Остальное соне». Мать, не открывая глаз, говорила ему от окна, со своего высокого стула: «Я тебе говорила», и отец отвечал: «Говорила, говорила», и смеялся, и Тавьер ел корку, и она хрустела и горчила, и это было самое вкусное на свете, потому что это было только его.

Ему было тогда, наверное, шесть. Или семь. До девяти.

Он сидел над миской и держал ложку и не мог есть. Он не вспоминал отца много лет, не потому, что запрещал себе, а потому что вспоминать было нечего: отец ушёл весной, и с тех пор от него в доме не осталось ни одной вещи, кроме тугой серой полосы на шарфе, на которую Тавьер старался не смотреть. А теперь отец был здесь, в миске, целиком, с голосом и смехом, и Тавьер вдруг с ужасом понял, что не помнит его лица, а запах помнит. Помнит, как тот смеялся. Помнит, что ладонь у него была шершавая и тёплая и пахла горелым. И больше ничего.

Корка хрустнула под ложкой. Он положил её в рот. Она была горькая.

— Ты плачешь? — спросила Ульма.

— Нет.

— Хорошо, — сказала она, и он был ей благодарен за то, что она поверила, хотя, конечно, не поверила. — А то у меня салфетка в рукаве, но она грязная.

Ульма тоже ела кашу.

Он заметил это только теперь. Перед ней стояла такая же глиняная миска, и в ней лежала такая же серая каша, только корки было больше, и корка была не сверху, а вся каша была с корками, перемешанная, как бывает, когда скребут дно котла последними, когда уже все поели. Ульма ела быстро, жадно, некрасиво, наклонившись к миске, как едят дети, которым не разрешают так есть, и, поймав его взгляд, ничуть не смутилась.

— Он меня спросил то же самое, — сказала она с полным ртом. — Что я ела, когда была счастлива. Я хотела сказать: белый пирог с ягодами из-под стекла. У нас его пекут на День Мэйтарра, и я должна его любить, потому что он стоит, как полдома, и его пекут для меня. Я его ненавижу. Он сладкий, как извинение. А сказала правду, потому что этот старик смотрит, как будто знает заранее. Что меня кормили с ложечки до двенадцати лет. Тётки. Каждая своей ложечкой, серебряной, у каждой своя. А я тайком бегала на кухню к кэйне, к старой Гэтте, она кормит у нас шорров на нижнем этаже, и Гэтта давала мне выскрести котёл. Со дна. Деревянной ложкой. Руками можно было. Я сидела на полу у её ног, и вся в саже, и никто на меня не смотрел. Это было счастье.

Она выскребла миску до дна, посмотрела в неё с сожалением и повернулась к проходу, где как раз проплывал Тумм Оссэ со своим половником.

— Хозяин, — сказала Ульма. — Ещё ложку.

— По одной миске на участника, — ласково сказал Тумм, не останавливаясь. — Иначе до спуска котлов не хватит. Сорок ртов, а тут ещё ходят разные. — Он кивнул куда-то в сторону дверей, где стояла, привалившись к косяку, невысокая крепкая женщина с короткими седыми волосами и ела что-то прямо из чужой миски.

— Я заплачу.

— Здесь не платят. Здесь кормят.

— Тогда я спою, — сказала Ульма.

— Не надо, — сказали с трёх столов, потому что уже научились.

— Я пою лучше, чем он, — обиделась Ульма, кивнув на Трэня.

— Все поют лучше, чем он, — сказал Тумм. — Это не довод.

Ульма помолчала, барабаня пальцами по столу, а потом заговорила вслух, но не с ним, а с собой, деловито, вполголоса, загибая пальцы:

— Хорошо. Если он не хочет денег и не хочет песни, значит, он хочет чего-то, чего у него нет. Что у него есть? Котлы, половник, рука. Чего у него нет? Он старый. Ему всё уже дарили. Нет, не всё. Ему ничего не дарили, ему говорили спасибо. Значит, подарю. Что подарю? Плащ не отдам, плащ тридцать человек. Салфетку? Она грязная. Серьги? Он не носит. Напёрсток! — Она запустила руку в подкладку свёрнутого плаща, пошарила там, как в норе, и вытащила серебряный напёрсток с выбитыми по краю цветами. — Тётя Дэйва вшила. На удачу. Она думает, что в шахте придётся шить. Может, и придётся. Но удача у меня и так есть, я сегодня сбила с ног человека, и он не обиделся.

Она протянула напёрсток Тумму. Тумм посмотрел на него, потом на неё, потом медленно, левой рукой, взял напёрсток и надел его на мизинец. Напёрсток налез до первой фаланги и там застрял.

— Красивый, — сказал Тумм Оссэ. Сказал удивлённо, тем голосом, каким говорят о погоде, когда она вдруг оказывается хорошей. — Ложку.

И он зачерпнул из котла, который нёс на сгибе локтя, одну ложку каши со дна, с самой чёрной коркой, и шлёпнул ей в миску. Ульма сказала «спасибо», с таким торжеством, будто выиграла место во вэрре. Тумм поплыл дальше. Напёрсток на его мизинце поблёскивал при каждом шаге.

Ульма посмотрела на свою ложку каши. Потом посмотрела на Тавьера. Потом, ни слова не говоря, переложила всю эту ложку, с коркой, в его миску, поверх его недоеденной, и придвинула миску к нему.

— Ешь, — сказала она. — Ты тощий.

— Я не просил.

— Знаю. Ешь.

Он хотел сказать, что не голоден, и понял, что голоден, что не ел со вчерашнего утра, с тех пор, как стоял у Дома Ратха, и что каша остыла, а корка всё равно хрустит. Он ел. Ульма смотрела, как он ест, подперев щёку кулаком, с таким довольным видом, словно это была её заслуга, что он вообще существует.

Женщина у двери тем временем доела чужую миску, вернула её хозяину, который даже не обернулся, взяла с ближайшего стола кусок хлеба у какого-то юноши с перевязанной головой, сказала ему «ты ешь, ешь, я только попробую», откусила половину, вернула вторую и направилась через зал прямо к их столу. Шла она широко, по-мужски, размахивая руками, и плошки на столах качались от её шагов. На вид ей было пятьдесят с чем-то, найра, лицо загорелое, обветренное, в морщинах от смеха, и у одного глаза, у виска, пятнышко коры, маленькое, похожее на веснушку.

— Тиррха, — сказал Трэнь с восторгом. — Это Тиррха Лэн. Она выиграла. Тридцать лет назад. Она каждый год сюда приходит и ест у всех.

— Не у всех, — сказала Тиррха, плюхаясь на скамью рядом с Тавьером так, что скамья подпрыгнула и плащ Ульмы звякнул колокольчиком. — У тех, кто не доедает. Ты, рыжий, всё доел, у тебя мне взять нечего, поэтому я тебя не люблю. А этот, — она кивнула на Тавьера, — этот ковыряет. Можно?

И, не дожидаясь, отломила ложкой кусок корки из его миски и съела, хрустя.

— Горелое, — сказала она с наслаждением. — Ненавижу горелое. А это ничего. Это чьё-то.

— Моё, — сказал Тавьер.

— Вижу, что твоё, — она толкнула его плечом, правым в левое, по-дружески, и он вздрогнул, и она это заметила и ничего не сказала. — У Тумма всё чьё-то. Я один раз попробовала у мальчишки из Салварра его кашу, так меня потом три дня тянуло на розовые ленты. Вы откуда, птенцы?

Они сказали. Тиррха слушала, кивала, жевала, хватала то с одной миски, то с другой, и смеялась, когда смешно, а смешно ей было почти всё: что Ульма из Веш, а ест, как грузчик; что Трэнь поставил на себя последние медяки и Шимма Фро записала ставку на обороте счёта за пиво, потому что жалко было тратить на него чистую страницу; что Тавьер крэннер и сидит, как будто его сейчас подберут и отнесут в банку. Смеялась она громко, во всё горло, откидывая голову, и от её смеха звенели миски на соседних столах, и люди, которые весь вечер сидели над своими тарелками тихо, как сидят над чем-то, что им одним принадлежит, оборачивались и начинали улыбаться, сами не зная чему.

— Вы правда выиграли? — спросила Ульма, когда Тиррха наконец замолчала, чтобы отдышаться.

— Правда.

— Тарх?

— Тарх. Мужу.

За столом стало тише. Не совсем тихо, Трэнь ещё что-то напевал под нос, но тише. Ульма подалась вперёд, и Тавьер увидел, как у неё сжались пальцы на краю стола. Он и сам не заметил, как отложил ложку.

— А какой… — начала Ульма и не договорила. — Каково это?

Тиррха посмотрела на неё. Потом на Тавьера. Потом на Трэня, который перестал петь. Потом взяла со стола кусок хлеба, отломила, но есть не стала, а держала в руке, поворачивая, как поворачивают вещь, которую давно знают наизусть.

— Это самое лучшее, что я видела, — сказала она просто. — Он лежал. Я держала его за руку. Тридцать два года мы прожили, и он всё время что-то говорил, он был болтливый, хуже рыжего. Ни минуты не молчал. А тут лежал и слушал. И голос этот, издалека, ему рассказывал. Про него же. Как он мальчишкой упал с лодки и не утонул. Как меня увидел первый раз, на мосту, я тогда торговала луком и обругала его, а он купил весь лук, чтобы я замолчала. Я и забыла. А голос помнил. И он слушал, и улыбался, и рука у него в моей руке становилась лёгкая-лёгкая. Как у ребёнка. А потом…

Она замолчала. Хлеб в её пальцах крошился.

— А потом? — шёпотом спросила Ульма.

— А потом я подняла глаза, — сказала Тиррха, — и увидела, что в комнате кто-то есть. Не видела, а знала. Как знаешь ночью, что кто-то вошёл, хотя не скрипнуло. Она сидела рядом. С другой стороны кровати. Тихо, не мешала. Она сидела рядом, как садятся с теми, за кем пришли.

Никто ничего не сказал. В тишине было слышно, как трещит жир в плошках и как где-то в глубине зала стучит половник Тумма о край котла, раз, другой, и как внизу, за задней стеной, в Дрэммаре, тонко звякнула посуда на полках, отзываясь на то, чего никто не слышал.

Потом Тиррха засмеялась.

— Ну что вы, — сказала она. — Что вы сидите, как на хаммэ у скупого. Это было хорошо. Это было самое лучшее, я же сказала. Ешь, тощий, а то я доем.

И доела.

Хэйры слышат по-разному. Одним достаётся гул, как из-за стены у соседей, другим слова. Тиррхе всю жизнь доставались слова, и потому к ней ходили все, у кого никого не было.

Трэня попросили замолчать в третий раз, когда он начал песню о лодочнике, у которого было две жены и обе на одном мосту. В четвёртый раз его попросили замолчать, когда он начал её снова, с середины, потому что ему показалось, что в первый раз его не дослушали. И в четвёртый раз, когда он уже открыл рот, чтобы сесть, кто-то за дальним столом, у самой печи, вдруг подхватил припев. Голос был старый, дребезжащий. Потом подхватил другой. Потом Тиррха, громко, во всё горло, и тоже мимо всех нот, но совсем в другую сторону, чем Трэнь, так что вместе у них получалось почти правильно. Потом Ульма. Она пела хорошо, высоко и чисто, и в её голосе было что-то от лестницы, по которой поднимаются бегом, и от её голоса остальные начали попадать в ноты, сами того не желая. Пел весь зал. Пела огромная женщина у окна, от которой пахло рыбой, и стучала в такт кулаком по столу так, что подпрыгивали миски. Пела красильщица с синими руками. Пели братья, и пели неодинаково. Даже крэнна под соседним столом, сросшиеся кисти, медленно выстукивала что-то пальцами по полу, и, если прислушаться, это был тот же ритм.

Тавьер не пел. Он не умел и не любил, чтобы на него смотрели, когда он делает то, чего не умеет. Но он сидел посреди этого шума и ел кашу, и каша остыла совсем, и корка была горькая, и ему было так тепло, как не было давно, может быть, с того утра, когда отец сказал «корка тому, кто встал раньше».

Через проход от них, у стены, сидел старик. Тавьер заметил его, когда песня кончилась и все засмеялись. Старик был эрн, весь в коре, до самого подбородка, и кора эта была толстая, серо-бурая, в глубоких трещинах, как у дерева, на котором много лет стояли под дождём, и сквозь трещины было видно, как под ней медленно пульсирует. Рядом с ним к скамье была прислонена палка. Перед ним стояла не миска, а кружка, глиняная, маленькая, с отбитым краем, и в кружке было молоко. Тёплое, с пенкой. Старик держал кружку обеими руками, которые уже не сгибались до конца, и не пил. Он смотрел в неё.

— Это Сэйр Модд, — тихо сказал Трэнь, проследив взгляд Тавьера. — Он тоже идёт. Ему сто сорок. Он родился в Год Хэйша. За месяц до Шаймарра.

Тавьер посчитал. Сто сорок лет назад этот старик был младенцем, у которого не было ничего, кроме молока, и ничего больше он не любил, потому что не успел. Тумм Оссэ спросил его у двери, что он ел, когда был счастлив, и он ответил честно.

Старик заметил, что на него смотрят. Он поднял голову, медленно, как поднимают тяжёлое, и Тавьер увидел его глаза, светлые, мокрые, совсем молодые в этой коре.

— Простите, уважаемые, — сказал Сэйр Модд, извиняясь непонятно за что, за молоко, за взгляд, за то, что он здесь. Потом снова опустил голову к кружке и отпил, совсем немного, и на губах у него осталась пенка, и он не стал её вытирать.

В дальнем углу, отгороженный ширмой, ужинал кто-то ещё.

Ширма была лёгкая, из натянутой на три палки серой ткани, и за ней горела одна свеча, так что на ткани лежала тень: человек, сидящий очень прямо, и две тени по бокам, стоящие. Люди Тэнгорра. Сэнхар Тэнгорр, наследник, тот самый, ради которого в папке Рэнхана лежали подписанные допуски, ел отдельно ото всех, и никто не удивлялся: так ели наследники. Тумм Оссэ, проходя мимо, поставил за ширму миску, и Тавьер, который сидел наискосок и видел краешек того, что за ширмой, увидел эту миску. В ней лежало что-то белое, пухлое, политое сиропом, с горкой ягод. Детская сладость, такая, какую в Иммарре дают маленьким на празд-

ник. Рука в серой перчатке взяла ложку, помедлила над миской и отложила ложку, не тронув. Потом взяла снова.

— Он ест за ширмой с семи лет, — сказала Ульма, тоже глядя туда. Она сказала это без насмешки. — У них в доме считают, что, если на наследника смотрят, он изнашивается. Как ковш. Мы с ним однажды сидели на одном празднике рядом. Мне было десять, ему восемнадцать. Он за весь вечер сказал одно слово.

— Какое?

— «Простите». Я пролила на него сок.

Она отвернулась от ширмы, и лицо у неё стало прежним, живым и любопытным.

Тиррха к этому времени ушла, расцеловав в обе щёки Трэня, Ульму, Тумма и, по ошибке или нарочно, косяк двери. Зал пустел. Каждый уносил с собой свой запах, и облако над столами редело, пока не осталось только горелое, жир и дым, и Тавьер понял, что это его каша последней остывает в зале.

Трэнь зевнул так, что хрустнула челюсть, и стал рассказывать, как он выиграет и угостит всех. Ульма слушала его, кивая, и одновременно расправляла на коленях свой плащ и пересчитывала пальцем вышитые узоры, шевеля губами.

Тавьер потянулся за кружкой с водой, стоявшей на другом конце стола. Рубашка натянулась на плече. Ворот съехал. Старая рубашка, с растянутым воротом, которую Мэвва давно собиралась перешить и всё не перешивала, потому что вязала. Он почувствовал холод на коже и сразу понял, что это значит, и сразу поправил, но Ульма уже не считала узоры.

Она смотрела на его плечо. Туда, где под краем ворота, у самой ключицы, на миг показалась тёмная, шершавая, как кромка обгорелой доски, полоса.

Она не ахнула и не отвела глаз, как отводят глаза в Тэмхе, когда видят у найра кору: из вежливости, как от чужой бедности. Она смотрела прямо, спокойно, и в её взгляде было то же, что в её вопросе про маму, когда она наклонила голову, как птица.

— Покажи, — сказала Ульма.

Тавьер держал кружку с водой. Вода в кружке дрожала, хотя рука, он был уверен, не дрожала. Он не сказал ни да, ни нет. Он вообще ничего не сказал. Он сидел и молчал, и чувствовал, как под рубашкой пятно отзывается на её взгляд, как на холод, тупо и тяжело, и смотрел в кружку, где плясал отражённый огонёк плошки.

Трэнь перестал болтать. Посмотрел на Ульму, на Тавьера, снова на Ульму.

Ульма подождала. Недолго. Столько, сколько нужно, чтобы стало ясно, что ответа не будет. Потом кивнула, будто он ответил, и ответил что-то разумное, с чем трудно спорить, и снова опустила глаза к плащу.

— Ладно, — сказала она. — Тогда я досчитаю. Тут тридцать узоров, а у меня всё выходит двадцать девять. Кто-то из них, значит, не вышил. Или вышил так, что не видно. Это у нас умеют.

И стала считать сначала, вслух, медленно, водя пальцем по серебру, и Тавьер слушал её голос, и только через несколько вдохов понял, что всё ещё не выпил воды и не поставил кружку, а держит её на весу, обеими руками, как держат то, что боятся уронить.

7. Тридцать серебряных ложечек

В Доме Веш просыпались медленно, потому что просыпаться было кому. Первым, ещё затемно, просыпался прадед Оквар в библиотеке и начинал вслух вспоминать год, когда в нижнем городе горели склады, а горели они сто шестьдесят лет назад. За ним просыпались тётки на втором этаже, все разом, и начинали спорить, какая из них вчера забыла закрыть ставни, хотя ставни закрывала кэйна. Потом скрипела лестница. Лестница в Доме Веш скрипела не от шагов: на повороте, там, где перила делали широкую петлю над холлом, в них уже шестьдесят лет сидел двоюродный прадед Хоннар, которого все в доме звали дядей, и, когда он просыпался, он потягивался, и вместе с ним потягивались перила на два пролёта вверх и вниз. Этот звук, долгий, деревянный, с тихим стоном в конце, Ульма слышала каждое утро своей жизни. Если бы её спросили, как звучит дом, она бы ответила: дом звучит так, как будто его будят, а он не хочет.

Она лежала в своей комнате и смотрела в потолок, расписанный облаками. Облака рисовала тётя Дэйва, когда Ульме был год, и рисовала так, чтобы в каждом облаке было какое-нибудь животное, которое можно найти, если долго смотреть. Ульма нашла их всех к пяти годам. Последним был заяц, спрятанный в краешке облака над окном, и, когда она его нашла, весь дом пришёл посмотреть, как она его нашла, и тётя Дэйва плакала. В Доме Веш вообще много плакали от радости. Это было утомительно, как жить там, где всегда идёт тёплый дождь.

На тумбочке у кровати лежал ключ. Медный, тяжёлый, с узорной головкой. Ключ от этой комнаты, подаренный ей на восемнадцать лет, торжественно, при всех, «чтобы ты могла запираться от нас». Она ни разу им не заперлась. Не потому, что не хотела, а потому, что знала: ночью, одна за другой, придут проверять, заперлась ли она, и, если заперлась, будут стоять под дверью и тихо волноваться, и волнение это будет слышно сквозь дверь, как слышно, когда за стеной кто-то не спит.

Ульма встала, умылась, оделась сама, хотя полагалось звать тёток, и вышла на лестницу.

Дом Веш был белый. Белый снаружи, как все дома Иммарра, и белый внутри, потому что так его любила Аммура, и за сто сорок лет белизна стала такой плотной, такой старой, что в ней было что-то от молока, оставленного в кувшине на ночь. Пахло воском, сухими розами в вазах, лаххом, который тётки жгли в маленьких медных чашках по углам, и ещё чем-то тёплым, сладковатым, чуть затхлым, что Ульма в детстве считала запахом дома, а потом поняла, что это запах тридцати тел, которые не стареют так, как старели раньше, а просто медленно становятся чем-то другим. Запах коры. Так пахнет в лесу после дождя, если лес очень старый и в нём никто не живёт.

На повороте лестницы она остановилась.

— Доброе утро, дядя Хоннар.

Перила вздохнули. Хоннар был весь в них: лицо его выступало из широкой резной петли, как выступает голова в барельефе, гладкое, отполированное за шестьдесят лет ладонями всех, кто спускался, до цвета тёмного мёда. Руки его уходили в балясины. Где-то ниже, в третьем пролёте, из перил торчала его ступня в бархатной туфле, и туфлю эту каждую весну меняли на новую. Глаза у дяди Хоннара были открыты, мутные и ласковые.

— Иннэ, — сказал он медленно, потому что всегда путал её с матерью. — Ты опять без шали.

— Я не Иннэ. Я Ульма.

— Ульма, — согласился Хоннар и тут же забыл. — Спой.

Она пела ему каждое утро. Так повелось с тех пор, как она научилась ходить по этой лестнице одна, держась за его руку, то есть за балясину, и петь, чтобы не бояться высоты. Песня была старая, домашняя, её пели в Доме Веш ещё до Шаймарра, когда в доме были дети, и её

пели детям, чтобы те засыпали. Ульма знала её с тех пор, как знала что-нибудь вообще. Она села на ступеньку, привалилась плечом к тёплому дереву перил, туда, где под лаком угадывалось дядино плечо, и запела вполголоса:

— Спи, пока дом держит. Спи, пока дом не спит. Никто не уронит, никто не отпустит, ни одна ступенька не скрипнет, ни одна дверь не стукнет…

На «никто не отпустит» перила под её плечом шевельнулись. Совсем немного. Так шевелится во сне человек, который услышал своё имя. Где-то внизу, в холле, кто-то из тёток, проходя, остановился и стал слушать. Потом наверху приоткрылась дверь, и оттуда тоже стали слушать. Ульма чувствовала это кожей: как дом замирает, по комнате, по этажу, и слушает её, единственный молодой голос в этих стенах, и как этот голос растекается по дому, подобно тёплой воде по холодной ванне, и все, кто в ней лежит, закрывают глаза от удовольствия. Её любили. Её любили так, что это можно было потрогать. Любовь в Доме Веш была плотная, как белизна, и такая же старая.

Она допела и встала.

— Ещё, — сказал Хоннар.

— Завтра, — сказала Ульма и сразу поняла, что завтра она не споёт. Завтра на рассвете, нет, послезавтра, она будет у края. А потом её не будет девять дней, а может быть, и дольше, и некому будет петь ему по утрам, и он будет ждать, просыпаться, потягиваться перилами на два пролёта и ждать.

Она погладила перила, там, где было его плечо, и пошла вниз быстрее, чем нужно.

В кухне, в полуподвале, было жарко, темно и пахло так, как нигде больше в доме: жиром, луком, сажей, мокрыми тряпками. Гэтта, старая кэйна, сидела на перевёрнутом ведре у огромного котла и мешала в нём длинной палкой. Гэтта была эрна, маленькая, вся какая-то сложенная, как сложенное письмо, и лицо у неё было в морщинах, в коре и в саже одновременно, так что непонятно было, где кончается одно и начинается другое. Каждое утро она варила в этом котле жидкую тёплую кашу для шорров нижнего этажа, тех, что уже не могли жевать, и потом весь день разносила её по дому в мисочке и кормила с ложки, приговаривая.

— Явилась, — сказала Гэтта, не оборачиваясь. — Барышня. Отскребать пришла?

— Ещё не сварилось.

— Не сварилось, — согласилась Гэтта. — Так посиди.

Ульма села на пол у её ног, как сидела в пять лет. Тут на неё никто не смотрел, кроме крэнны, двух мизинцев, которые жили за печкой и иногда выползали к крошкам, хотя есть им было нечем.

— Меня вчера в «Ваммэ» кормили, — сказала Ульма. — Кашей. Со дна. С коркой.

— Ну и правильно, — сказала Гэтта. — А то ты тут всю жизнь белое ешь. От белого люди не растут, а пухнут.

— Я там человека с ног сбила.

— Кого?

— Крэннера. Из Тэмхи. Он тощий. У него мама считает вдохи.

Гэтта перестала мешать. Посмотрела на неё сверху, из своих морщин.

— Ты ему понравилась?

— Не знаю. Он молчит. — Ульма подтянула колени к груди. — У него на плече кора. Я попросила показать. Он не показал.

— А ты?

— А я не стала просить второй раз.

Гэтта долго молчала. Потом снова стала мешать, и палка в котле стучала о дно, гулко, медленно.

— Вот это, — сказала она наконец, — первое умное, что ты сделала за двадцать два года. Запомни, как это было. Пригодится.

После полудня приехали смотреть.

Это называлось не так, конечно. Это называлось визитом, и визит был от Дома Салварр, и состоял из трёх старух в кружевах на одной широкой тележке, которую толкали двое слуг, и одного старика, который шёл сам, опираясь на две трости и на третью, растущую у него из бедра. Гости приехали пожелать барышне Веш лёгкой дороги и, если удастся, посмотреть, как она выглядит за день до того, как отправится туда, откуда, как всем было известно, приходят не все.

Ульма стояла на подставке.

Подставка была круглая, низкая, обтянутая синим бархатом, и стояла посреди холла, под самой люстрой. На ней Ульму ставили с трёх лет. Сначала чтобы гостям было видно, потом по привычке: Аммура говорила, что с подставки у девочки лучше осанка. Ульма знала эту подставку лучше, чем свою кровать. Знала, что левый край у неё проседает, и, если перенести вес на левую ногу, можно незаметно покачиваться, как лодка у причала.

Она покачивалась.

— Какая румяная, — сказала первая старуха из Салварра.

— Какая живая, — сказала вторая.

— Повернись, деточка, — сказала третья. — Мы хотим посмотреть на тебя сзади. Сзади видно, сколько человеку осталось.

Ульма повернулась. За спиной у неё, на лестнице, на всех трёх пролётах, стояли и сидели её родные, двадцать с лишним человек, и смотрели, как на неё смотрят. Они улыбались. Они гордились. Дядя Хоннар в перилах шевелил губами, повторяя что-то своё. Ульма торговалась сама с собой одними губами: «Если досчитаю до ста и они не уедут, спою им. Если досчитаю до двухсот, спою им песню Трэня про рыбу. Если до трёхсот, сойду с подставки и пойду на кухню, и пусть смотрят мне вслед, сзади ведь видно, сколько осталось».

Они уехали на ста девяноста. Перед отъездом старик с тремя тростями подошёл к подставке и поцеловал ей руку, сухо, бумажно, и сказал:

— Я видел в Гуррэне семьдесят спусков, барышня. Возвращаются всегда не те, кого провожали.

— А какие?

— Другие, — сказал старик. — Лучше или хуже, не скажу. Но другие.

Ульма подумала и, повинуясь чему-то, что поднималось в ней всякий раз, когда ей было неловко, сняла с пальца тонкое кольцо, простое, серебряное, с крошечным синим камнем, и протянула ему.

— Это вам.

Старик удивился.

— Зачем?

— Не знаю, — честно сказала Ульма. — Оно мне не нужно. Вам, наверное, тоже. Но так у вас будет что-то от меня. На случай, если я вернусь другая.

Старик посмотрел на кольцо, потом на неё, потом медленно надел кольцо на мизинец, на первую фалангу, дальше не налезло. И ушёл, опираясь на все три трости, и, уже у двери, обернулся и посмотрел на неё так, как, наверное, смотрел на тех семьдесят, из которых вернулись не все.

Мать жила на третьем этаже, в комнате с окном на сад, и не выходила из неё двадцать два года.

Иннэ Веш была эрна, и, когда Дом купил ей ханэ, ей было сто восемнадцать лет, хотя на вид, как говорили тётки, не больше тридцати: тело у неё тогда только начинало каменеть, а лицо оставалось гладким. Она родила в большой кровати с балдахином, под этим самым окном, и после родов не встала. Роды в Ирмауне случались так редко, что никто не помнил, как от них оправляются, и ваймеры решили, что ей нужен покой. Её уложили. Через год она

срослась с кроватью спиной. Через пять лет кровать вросла в неё до плеч, и балдахин, тяжёлый, бархатный, синий, как плащ, медленно опустился и стал частью её волос. Сейчас Иннэ Веш была кроватью, и кровать была ею, и, когда Ульма садилась на край, мать чувствовала это, как чувствуют, когда кто-то садится тебе на колени.

Ульма села на край.

— Ты пришла сказать, — сказала мать. Она говорила очень медленно, с долгими паузами, потому что каждое слово ей приходилось поднимать откуда-то из глубины, из-под перины, из-под досок, — что уходишь.

— Я тебе это уже месяц говорю.

— Месяц, — повторила Иннэ. — А я каждый раз удивляюсь. Это хорошо. Значит, я ещё умею удивляться.

Лицо у матери было красивое. Гости, приходя, говорили «какая красавица», как говорят о вазе. Глаза у Иннэ были такие же, как у Ульмы, круглые, птичьи, только старше на сто восемнадцать лет и усталые так, как устают не от работы, а от потолка.

— Мама, — сказала Ульма. — В плаще тридцать узоров. Я вчера считала. Выходит двадцать девять.

— Двадцать девять, — согласилась мать.

— Кто не вышил?

Иннэ помолчала. Потом её рука, единственная, которая ещё выходила из простыней свободно, до локтя, легла на одеяло ладонью вверх. Ульма вложила в неё свою.

— Я не умею вышивать лёжа, — сказала мать. — Я попросила Гэтту. Там, внутри, в подкладке. Колокольчик.

Ульма вспомнила этот колокольчик, маленький, медный, единственный в подкладке без хозяина.

— С твоей люльки, — сказала мать. — Он висел над тобой. Ты его дёргала. Когда ты его дёргала, я слышала, что ты не спишь. А я ведь не могла встать и посмотреть.

Ульма сидела и держала её руку. Рука была тёплая, тяжёлая, и на запястье, под кожей, медленно, лениво, как река подо льдом, ходило что-то, что было уже не совсем кровью.

— Мама, — сказала она. — А ты знаешь, чей конец меня привязал? В книге ратха. Напротив меня.

Это был вопрос, который в Доме Веш не задавали. Каждый ребёнок в Ирмауне рождался там и тогда, где кто-то закончился, и в книге Дома Ратха имена стояли парами: начало и конец. Ульма знала, что её пару Дом купил, как покупал всё. Она никогда не спрашивала, у кого.

— Знаю, — сказала Иннэ. — Прачка. Из Тэмхи. С нижней террасы. Ей было сто двадцать, у неё срослись руки, она не могла больше полоскать. Её место во вэрре было далеко, и Аммура выкупила его у её внуков. За три дома и сад. Она закончилась утром, а ты родилась вечером. Я ей потом всю жизнь благодарна. И стыжусь. Одновременно. Это можно.

Ульма молчала. За окном в саду тётки гуляли по дорожкам, медленно, под руку, и одна из них, кажется, тётя Дэйва, остановилась у куста и разговаривала с ним, потому что куст был посажен в год её свадьбы.

— Я не хочу так, — сказала Ульма.

— Как?

— Чтобы купили. Чтобы выбрали, у кого купить. Чтобы выбрали отца из Салварра, потому что у Салварра долг перед нами, или из Тэнгорра, потому что у Тэнгорра нет наследника. Чтобы потом его поставили на подставку. Чтобы ему расписали потолок, и он нашёл всех зайцев к пяти годам, и все пришли смотреть, как он нашёл зайца. Чтобы его кормили с тридцати ложечек.

Она остановилась. Она говорила это много раз, но матери никогда, и сейчас услышала, как это звучит: как упрёк женщине, которая не может встать.

— Прости, — сказала она.

— Не за что, — сказала мать. — Говори.

— Я хочу, чтобы был кто-то, кому позволят быть грязным. Понимаешь? Живым и грязным. Чтобы он падал и разбивал колени, и колени заживали, или не заживали, я не знаю, как у них будет, но чтобы падал. Чтобы ел со дна котла руками. Чтобы его не ставили. Чтобы на него не смотрели, как на чудо. Чтобы он просто был. Как кошка. Как трава между камнями в Тэмхе, которую никто не сажал. — Она сжала материну руку. — Если я выиграю ханэ, оно будет моё. Не Дома. Моё, по книге, Гуррэном. Никто не сможет сказать, что купил. И тогда я сама решу.

— Что решишь?

— Всё.

Иннэ Веш смотрела на неё долго. Потом уголки её губ шевельнулись, и Ульма не сразу поняла, что мать смеётся, потому что смеяться ей было так же трудно, как говорить, и смех выходил из неё медленно, по частям, как вода из узкого горлышка.

— Ты вся в неё, — сказала мать.

— В кого?

— В Аммуру. Она тоже всё решает сама. За всех. — Иннэ закрыла глаза. — Иди, птенчик. Ужин. Они ждут. Они весь день готовили. Не порть им.

Ульма наклонилась и поцеловала мать в лоб, где кожа была ещё совсем мягкой. Потом встала с края кровати, и кровать чуть приподнялась, освобождаясь от её веса, и балдахин над подушками колыхнулся, как колышутся волосы.

У двери она оглянулась.

— Мама. А если бы ты могла встать?

— Я бы тебя не пустила, — сказала Иннэ, не открывая глаз. — Поэтому хорошо, что не могу.

Ужин был накрыт в большой столовой, на тридцать два прибора.

Тридцать два, потому что накрывали и на тех, кто не мог прийти к столу: на дядю Хоннара, на мать, на прадеда Оквара. Их тарелки стояли нетронутыми весь ужин, а потом Гэтта разносила еду по комнатам в мисочках. В Доме Веш накрытый стол значил, что никого не забыли.

Стол был белый. Скатерть белая, свечи белые, на блюдах белое: белая рыба в белом соусе, белый хлеб, белые цветы в низких вазах. Ульма, входя, поняла, что это значит, и у неё на миг потемнело в глазах. Так накрывали на хаммэ. Никто бы этого не сказал вслух, никто бы и не подумал этого сказать, но тётки готовили весь день, и руки у них сами сделали то, что делают руки, когда кого-то провожают.

Посреди стола стоял белый пирог с ягодами из-под стекла.

Они уже сидели. Тридцать человек, кто на стульях, кто на тележках, кто в креслах с колёсами, кто подпёртый подушками, и прадедова тарелка с краю, пустая, и дядина Хоннара. Тётя Дэйва с красными глазами. Тётя Сулва, которая всегда приходила к ужину в перчатках, потому что пальцы у неё срослись в две лопатки и она этого стеснялась. Двоюродный дед Ассэр, у которого на шее была вторая голова, маленькая, недоросшая, сморщенная, как печёное яблоко, и эта голова всегда спала, только иногда во сне шевелила губами, и за столом про неё было принято говорить шёпотом, чтобы не разбудить. И во главе стола, на возвышении, в огромном кресле, сделанном не из дерева, а из них самих, сидела Аммура Веш.

Их было четыре. Это знали все, но каждый раз, когда Ульма смотрела на них, она заново удивлялась тому, как это выглядит. Четыре сестры сидели в одном кресле, плечом к плечу, и плечи у них давно стали общими, как у деревьев, которые выросли из одного пня. У них было восемь рук, но двигались из них только пять. У них было четыре головы, и все четыре были седые, сухие, с одинаковыми острыми носами, с одинаковыми птичьими глазами, теми самыми, которые достались Иннэ и Ульме. Ниже груди всё сливалось в одно, обтянутое синим

бархатом, огромное, неподвижное, и от кресла было уже не отличить. Им было сто девяносто лет. Говорили они по одной, и одна фраза у них всегда переходила из уст в уста, так что, если закрыть глаза, казалось, что говорит один человек, который почему-то всё время поворачивает голову.

— Садись, — сказала первая сестра.

— Девочка, — сказала вторая.

— Садись по правую руку, — сказала третья.

— По нашу, — сказала четвёртая.

Ульма села по правую руку. Ужин шёл, как идут ужины в Доме Веш: медленно, громко, со всеми сразу. Прадед в библиотеке, которого не было за столом, но голос которого доносился через три стены, вспоминал, как горели склады. Дед Ассэр рассказывал, что в его время в Гуррэн не ходили девушки из Домов, а ходили только носильщики и дураки, и что, если подумать, это одно и то же, и вторая голова у него на шее улыбалась во сне. Все ели мало. Ульма ела много, потому что, если она переставала есть, на неё начинали смотреть.

Потом Аммура постучала ложкой по бокалу. Стук получился четырёхкратный, потому что стучала одна рука, а бокал держали две другие.

Все замолчали.

— Ульма, — сказала первая сестра.

— Мы тебя не держим, — сказала вторая.

— Мы тебя не держим, — повторила третья, и Ульма поняла, что они это репетировали.

— Мы тебя отпускаем, — сказала четвёртая, и голос у неё дрогнул, и дрогнуло всё кресло.

Одна из рук, левая рука первой сестры, медленно, через весь угол стола, протянула Ульме маленький флакон тёмного стекла, оплетённый серебром. Флакон был тяжёлый. В нём перекатывалось густое, медленное.

— Это лаххх, — сказала первая.

— Лучший в Иммарре, — сказала вторая.

— Мы его берегли, — сказала третья.

— Себе, — сказала четвёртая. — На тот день, когда станет совсем больно. Он ещё не настал. Бери.

Ульма взяла. Флакон был тёплый от их руки. Она хотела сказать спасибо и не смогла, потому что за столом тридцать человек одновременно достали платки, и это было так смешно и так невыносимо,что она закусила губу.

Потом другая рука, правая рука четвёртой сестры, та, что двигалась лучше всех, протянула ей ключ.

Ключ был маленький, новый, блестящий, на синей ленте. Совсем не похожий на тот старый медный ключ от её комнаты, который лежал на тумбочке.

— Это ключ, — сказала первая сестра.

— От детской, — сказала вторая.

— Мы её приготовили, — сказала третья. — В восточном крыле. Где окна на сад.

— Двадцать лет готовили, — сказала четвёртая. — С тех пор как ты пошла ножками. Ждали, когда ты подрастёшь. Колыбель вырезал Хоннар, пока ещё мог. Потолок расписала Дэйва. Там тридцать ложечек, по одной от каждого. Серебряные. Всё готово. Всё ждёт.

За столом закивали, заулыбались сквозь платки. Тётя Дэйва всхлипнула в голос. Ульма сидела и держала ключ на синей ленте, и ключ был лёгкий, легче флакона, и ей казалось, что он тяжелее всего, что она держала в жизни.

— Неси его, — сказала первая.

— До дна, — сказала вторая.

— И обратно, — сказала третья.

— А когда вернёшься, — сказала четвёртая, — откроешь сама.

Ульма подняла глаза. Четыре лица смотрели на неё, четыре пары её собственных глаз, и в каждой была любовь, такая огромная, такая белая, такая старая, что в ней можно было утонуть и не заметить, что тонешь. Они знали. Они знали, зачем она идёт, они знали это с самого начала, с того вечера месяц назад, когда она сказала за этим столом «я иду в Гуррэн» и тётя Сулва уронила вилку. Они спорили с ней три недели. Потом перестали спорить и сели вышивать плащ. Они приняли её решение так, как принимали всё, что она делала с трёх лет: целиком, с благодарностью, с восторгом, и тут же взяли его в руки, обтёрли, обложили бархатом и поставили на подставку. Двадцать лет назад они приготовили колыбель для ребёнка, которого ещё не было, и тридцать ложечек, и потолок, и ждали только, когда Ульма принесёт им то, что нужно в неё положить.

— Спасибо, — сказала Ульма. Голос у неё вышел ровный. Она удивилась.

Кресло вздохнуло четырьмя грудями сразу. Потом первая сестра улыбнулась, и вслед за ней улыбнулись остальные, по одной, и за столом снова заговорили все сразу, и кто-то из тёток начал резать белый пирог.

Ульма съела свой кусок до конца. Он был сладкий, как извинение.

Ночью она не спала.

Сначала она лежала и слушала дом. Дом засыпал так же, как просыпался, медленно, по этажам: стихли тётки, стих прадед, перила на повороте лестницы вздохнули и замерли, и только где-то под полом, в кухне, Гэтта ещё звенела котлом. Потом под дверью постояла тётя Дэйва: не заперлась ли. Потом тётя Сулва. Потом кто-то на тележке. Потом стало совсем тихо.

Тогда она встала, зажгла свечу и села писать.

Она написала: «Я ушла в Тэмху. Не присылайте за мной носилки». Посмотрела. Зачеркнула «носилки», написала «людей». Подумала. Сказала вслух, шёпотом, деловито, как на рынке: «Если напишу, где я буду, они пришлют Гэтту. Гэтту я не прогоню. Значит, не писать где. Если не писать где, тётя Дэйва не уснёт. Значит, написать, что я в «Ваммэ». В «Ваммэ» они не пойдут, там пахнет горелым». Зачеркнула. Взяла новый лист.

Она исписала четыре листа и все сожгла в свече. На пятом получилось. Она не стала больше ничего менять, потому что знала: если начнёт менять, то не уйдёт.

Потом она надела плащ. Плащ был тяжёлый, он всегда был тяжёлый, но сейчас, в темноте, когда никто не смотрел, она почувствовала, что весит в нём каждый из тридцати, тётина птица, дядино колесо, ключ, ладонь, лестница, пряди волос в кармашках, и колокольчик с маминой люльки, который звякнул, когда она застегнула ворот, и она прижала его ладонью сквозь ткань, чтобы не звякнул ещё раз.

Флакон лахха она положила во внутренний карман. Ключ на синей ленте подержала в руке. Потом надела ленту на шею и спрятала ключ под рубашку, к коже. Он был холодный и сразу стал тёплым.

Старый медный ключ от комнаты она положила на подушку. Сверху положила записку. Окно открылось без скрипа: она смазала петли ещё неделю назад, лахховым маслом, украденным у тётки из медной чашки, и с тех пор каждый вечер проверяла, не скрипят ли. Под окном шёл карниз до угла, а там водосточная труба в плюще, по которой Ульма в двенадцать лет лазила к Гэтте на кухню.

Она перекинула ногу через подоконник. Ночь была сухая и безветренная, и снизу, из Тэмхи, поднимался запах рыбы и дыма, и где-то далеко у края шахты горели костры мэйруков. Она оглянулась на комнату, на потолок, где в темноте прятались зайцы, на кровать, на белый квадрат записки на подушке.

На записке было написано:

«Не провожайте меня. Я приду к краю сама, ногами. Простите меня за это, я знаю, что вы хотели нести. Ключ взяла. Лахх взяла. Плащ взяла, весь, со всеми. Детскую не открывайте без меня. Когда я вернусь, если я вернусь не одна, я вас очень прошу: не ставьте её на подставку.

Пусть она будет грязная. Ваша Ульма. Дяде Хоннару спойте утром кто-нибудь. Он не заметит, что не я».

Ульма спустилась по трубе, спрыгнула в мокрую траву сада, и колокольчик под плащом звякнул один раз, тонко, и где-то на третьем этаже, в комнате с окном на сад, женщина, сросшаяся с кроватью, открыла глаза и слушала, пока не стало тихо.

8. Правило Синего двора

Каморка Вурхи Тенн была под прачечной на Мокром спуске, и попасть в неё можно было только сверху, через люк в полу сушильни, или снизу, через низкую дверь со стороны водостока, в которую Вурха въезжала на своей тележке, пригнув голову, и выезжала, ругаясь. Сверху всё время капало. Не вода: тёплая мыльная пена с чужого белья, которая собиралась на досках потолка и падала крупными мутными каплями, медленно, по одной, на ящики, на пол, на тележку, на саму Вурху, и Вурха за сто сорок лет так к этому привыкла, что, когда в сушильне не стирали, не могла уснуть от тишины.

Тавьер пришёл утром. Он не спал ночь, но ночь была его работой, и не спать он привык. Он постучал в дверь со стороны водостока три раза, как стучал с шести лет, и услышал изнутри:

— Не заперто. Заперто у тех, у кого есть что взять.

Внутри было темно, сыро и пахло щёлоком, старой кожей и лаххом, дешёвым, тем, что варил Борро на соседней улице из отходов и продавал крэннерам на развес. Вдоль стен стояли ящики, вдоль ящиков стояли ещё ящики, и во всех лежала крэнна, рассортированная, подписанная, накрытая мешковиной: Вурха не держала банок, банки были для молодых и чувствительных. Она держала ящики, по десять, по двадцать рук в каждом, и знала каждую руку не по имени, а по улице, по году и по тому, что та делает, когда думает, что на неё не смотрят.

Сама Вурха сидела на тележке посреди каморки и завтракала. Завтракала она вяленой рыбой, отрывая от неё полоски своими двумя руками, коричневыми, как корни, и отправляя в рот, а чужая правая рука, рука игрока, тем временем катала по колену сушёную горошину, взад-вперёд, взад-вперёд, с тем тихим упорством, с каким катают кости перед броском, который всё никак не решаются сделать.

— Явился, — сказала Вурха. — Садись. Не туда, там Пэтт насидел, мокро. Вон туда.

Тавьер сел на ящик. Ящик под ним шевельнулся, и он, не глядя, похлопал по крышке, и шевеление прекратилось.

— Пэтт где?

— Пэтта я послала к Борро с пальцами. Пусть идёт медленно. — Вурха оторвала полоску рыбы, посмотрела на неё, протянула ему. Он взял. — Ешь. Ты вчера в «Ваммэ» ужинал, слышала. Кашу ел. С горелым. И девица из Веш тебе свою ложку отдала. И рыжий пел. Его четыре раза просили заткнуться. Я бы с первого заткнула.

— Откуда ты знаешь?

— Откуда, откуда. Тэмха маленькая, а языков в ней больше, чем рук, а рук сам знаешь сколько. — Вурха поскребла третьей, маленькой рукой у себя под лопаткой. — Шимма сказала. У неё теперь на тебя один к двадцати. Девица из Веш один к сорока. Рыжий один к ста. Я на рыжего поставила.

— Почему на рыжего?

— Потому что один к ста, — сказала Вурха. — Я старая. Мне скучно ставить на тех, кто может дойти.

Тавьер жевал рыбу. Рыба была солёная до горечи, и от неё хотелось пить. Он смотрел на Вурху и ждал, когда она скажет про завтра, и она не говорила. С тех пор как он вернулся из Дома Ратха, она ни разу не сказала про Гуррэн. В «Хэнниш», когда умерла Шарш и он копал во дворе под старым деревом, она сидела на краю ямы и командовала, глубже, глубже, чтобы крэнна не добралась, и лицо у неё было злое и красное, и она не сказала ни слова про то, что все в таверне уже знали. Позавчера он сказал ей сам, утром, после обхода. Она выслушала, кивнула и велела ему отнести ящик с Харров к ваймеру, потому что там была дорогая рука с кольцом. Вчера она про это тоже не сказала. Вурха Тенн умела ругаться на любую тему, кроме

той, которая её по-настоящему злила. На эту тему она молчала, и молчание её было громче ругани.

— Работа есть, — сказала Вурха, дожевав. — Последняя. Пойдёшь?

— Пойду.

— Не спрашиваешь какая.

— Ты же скажешь.

— Скажу, — Вурха смахнула рыбьи кости в ящик у колеса, потому что ничего не выбрасывают, даже рыбьи кости. — Под красильнями, на Синем дворе, старый отстойник. Знаешь?

Тавьер знал. Все крэннеры Тэмхи знали Синий двор и все его обходили. Красильни стояли там с тех времён, когда не было ещё ни Иммарра, ни ратха, и под ними, в земле, был выложен камнем большой круглый отстойник, куда сто лет сливали отработанную краску, мочу, на которой её закрепляли, щёлок, золу и всё, что смывалось с чанов. Потом красильни перестроили, сток повели другим путём, к шахте, а отстойник заколотили досками и забыли. Забыли не все. Крэнна помнит тепло, а отстойник был тёплый, потому что над ним сто лет кипели чаны, и камень впитал этот жар и отдавал его медленно, как отдаёт печь. И крэнна шла туда. Со всего Мокрого спуска, со всех нижних улиц, десятилетиями, через щели, через трубы, через водостоки, рука за рукой. Шла и не возвращалась.

— Там хэсс, — сказал Тавьер.

— Там ещё не хэсс, — сказала Вурха. — Там щенок хэсса. Хэсс внизу, в Дрэммаре. Там такой, что площадь целиком. А этот с комнату. Но учится. — Она посмотрела на него из-под бровей. — Арвэ Тулл, красильщик, знаешь его? Сорок лет назад потерял руку. Левую. Обварил в чане, она и отвалилась, а он спьяну не нашёл. Говорит, уползла к Синему двору, все туда уползают. Говорит, у неё ноготь на большом пальце надвое расщеплён, с детства, дверью прищемил. Его место во вэрре подошло. Хаммэ через двенадцать дней. Хочет уйти целым. Просит найти.

— В отстойнике.

— В отстойнике.

— Там их тысяча.

— Там их больше, — сказала Вурха спокойно. — Я туда двадцать лет не спускалась. С тех пор, как перестала ходить. Ну?

Тавьер посмотрел на неё. Вурха смотрела на него. Чужая левая рука, рука возчика, лежала у неё на колене смирно, что с ней бывало редко, и даже не показывала свой знак.

— Пойду, — сказал он.

— Ну и иди, — сказала Вурха. — Я с тобой. Сверху посижу. Мне оттуда виднее, как ты дурак.

По дороге к Синему двору они проехали через рынок.

Рынок у нижнего моста в этот час был полон, шумел, пах рыбой, луком, мокрой мешковиной и подгоревшим маслом, на котором жарили лепёшки. Вурха ехала через него, как едет телега через стадо: громыхая железными колёсами, не сворачивая, и люди отскакивали, ругались, узнавали её и ругались уже с уважением. Тавьер шёл следом с её ящиком на плече.

Посреди рынка, у мучного ряда, на горе мешков сидел Трэнь. Он был голый по пояс, весь белый от муки, и пел. Под мешками стояла высокая девушка в тяжёлом синем плаще до земли, тоже белом от муки снизу до колен, и пыталась поднять мешок. Мешок не поднимался. Девушка говорила с ним вслух, деловито: «Хорошо. Если я возьму тебя за углы, ты поедешь. Если возьму за середину, ты сломаешь мне спину. Если я сниму плащ, я тебя подниму, но тогда плащ украдут. Значит, за углы». Она взяла за углы. Мешок поехал. Трэнь на мешках зааплодировал и сбился с песни.

— Это ещё кто? — спросила Вурха, притормозив колесом.

— Веш, — сказал Тавьер. — Ульма.

Вурха смотрела, как девушка в плаще из Иммарра тащит мешок с мукой по рыночной грязи к телеге лаххера, пятясь, скользя, и смеётся, и поёт вместе с Трэнем, чище его вдвое и ровно вдвое тише.

— Сбежала, — определила Вурха.

— Откуда ты знаешь?

— По плащу. Такие тяжёлые плащи бывают только у тех, кого держат. — Вурха тронула тележку дальше. — Хорошая девка. Таскает. Дура, правда. Вся в муке. В Иммарре её за это неделю отмывать будут, а потом ещё неделю плакать.

Ульма их не заметила. Она была занята мешком. Тавьер посмотрел на неё ещё раз через плечо, уже уходя, и увидел, что на шее у неё, из-под ворота, на синей ленте выбился маленький блестящий ключ и болтается, ударяя её по груди, когда она тянет.

Синий двор был синий. Синим было всё: камни мостовой, стены красилен, двери, ставни, кошки, которые спали на подоконниках, и лица красильщиков, которые выходили на крыльцо подышать. Краска въелась здесь в мир, как кора въедается в кожу, и стала его частью. Вода в канавах текла густо-синяя, почти чёрная, и пахла резко, кисло, мочой и железом, так что у Тавьера с непривычки заслезились глаза. Арвэ Тулл ждал их у заколоченного люка. Он был старый эрн, высокий, сутулый, и правая рука у него была синяя до плеча, а левой не было: пустой рукав был аккуратно заколот булавкой.

— Вурха, — сказал он и поклонился. — Тощий. Спасибо, что пришли.

— Не благодари, — сказала Вурха. — Ещё не нашли. Найдём, тогда благодари. Не найдём, тогда тоже благодари, потому что лезть туда никто, кроме этого дурака, не согласится. Открывай.

Тулл отодвинул доски. Под ними был круглый лаз, а из лаза поднялся тёплый воздух, влажный и густой, как дыхание из открытого рта, и с ним звук. Тавьер знал все звуки крэнны: шорох у стен, постукивание по стеклу, царапанье ногтей по камню. Этот звук был другой. Это был плеск. Мягкий, ленивый, бесконечный, как плещет вода о борт лодки, привязанной у причала, только вода не была водой, и лодки никакой не было.

Тавьер опустил фонарь в лаз на верёвке и лёг на живот у края, чтобы посмотреть.

Отстойник был большой, шагов двадцать в поперечнике, круглый, с покатыми каменными стенами, и до самого края, до трёх ступеней кладки под люком, он был заполнен руками.

Они лежали слоями, переплетясь, срастаясь, синие. Все синие. Синие, как вечернее небо над шахтой, как глубокая вода, как цветы, которые растут на склонах за городом весной и которые никто не рвёт, потому что они вянут в руках. Краска, которую сливали сюда сто лет, пропитала их насквозь, и кожа у них стала гладкой и тёмной, с отливом, и в свете фонаря они блестели, как мокрые лепестки. И они двигались. Медленно, все вместе, волнами, от края к центру и обратно, и пальцы раскрывались и закрывались, тысячи пальцев, и вся поверхность отстойника дышала, как дышит поле, когда по нему идёт ветер. Это было красиво. Это было так красиво, что Тавьер на мгновение забыл, на что смотрит, и смотрел, как смотрят на воду с моста.

Потом он увидел, что в середине, там, где слои были толще всего, из синевы поднимается что-то вроде холма, и на вершине холма руки срослись так плотно, что уже не было видно, где одна, где другая, и холм этот медленно пульсировал, и от него по всей поверхности расходились кругами слабые волны. И от этого холма шёл запах, сладкий, тяжёлый, как от мяса, которое неделю пролежало в рассоле.

И ещё он увидел, что, когда его фонарь качнулся на верёвке, все руки под ним одновременно повернулись ладонями к свету.

— Ну? — сказала сверху Вурха.

— Красиво, — сказал Тавьер.

— Вот, — сказала Вурха. — Вот с этого и начинается. Сначала красиво. Потом ты уже по пояс. Слезай.

Он спустился по трём ступеням кладки и остановился на последней, над самой синевой. Руки под ним перестали плескаться. Не все сразу: сначала ближние, потом дальше, и тишина пошла от его ног кругом, к стенам, до самого холма в середине, как идёт круг по воде от брошенного камня. Тысяча маленьких ладоней одновременно замерла и прислушалась. Тавьер слышал своё дыхание. Слышал, как наверху Арвэ Тулл переступил с ноги на ногу. Слышал, как капает с потолка люка синяя капля.

— Слушай меня, — сказала Вурха сверху, и голос у неё был не громкий, а ровный, тот, которым она учила его, когда ему было шесть. — Слушаешь?

— Слушаю.

— Правило ты знаешь. Не наступай дважды одинаково. Это ты знаешь. Это все знают, это для дураков правило. Сейчас будет другое. Последнее. Потом не будет, так что слушай ушами, а не тем местом, которым ты обычно слушаешь.

— Слушаю, — повторил он.

— Есть то, что трогать не страшно, — сказала Вурха. — Рука в канаве. Пальцы на подоконнике. Ухо под лавкой. Это ты берёшь, как я учила: медленно, ладонь к ладони, как к чужой собаке. А есть то, что трогать страшно. Не противно, противно это ерунда, к противному привыкаешь за неделю. Страшно. Когда ты знаешь, что, если оно тебя возьмёт, ты не вырвешься. Вот это. — Он не видел, но знал, что она показывает вниз своей маленькой третьей рукой. — Это как брать?

Тавьер молчал.

— Не знаешь, — сказала Вурха с удовлетворением. — А я скажу. Страшное не берут. Страшному отдаются первым. Ты не протягиваешь к нему руку, чтобы взять. Ты протягиваешь ему руку, чтобы оно взяло тебя. Ладонью вверх. Пустую. Пусть возьмёт. Пусть держит. Пусть поймёт, что ты тёплый, что ты не дёргаешься и никуда не денешься. Тогда оно перестанет бояться. Оно ведь тоже боится, дурак. Оно тоже не знает, что ты такое. А когда перестанет бояться, само отдаст, что тебе нужно. Не раньше. Если дёрнешься, всё. Если вырвешься, оно запомнит, что ты вырываешься, и в следующий раз схватит раньше и крепче. Понял?

— Понял.

— Не понял. Но поймёшь. Давай. Ноготь расщеплённый на большом пальце. Левая. Ищи не глазами. Глазами ты тут ничего не найдёшь, они все синие. Ищи по тому, что она делает. Арвэ, что она делала?

— Отжимала, — сказал сверху Тулл хрипло. — Сорок лет отжимала. Ткань из чана. Вот так. — Тавьер не видел как, но знал. Он видел красильщиков. Они берут мокрый кусок обеими руками и крутят, левую от себя, правую к себе, и из ткани течёт синяя вода. — Только у меня одна теперь. Отжимать нечем. Сорок лет хожу и не могу отжать тряпку.

Тавьер сел на нижнюю ступень. Потом, медленно, опустил в синеву ноги, сначала одну, потом другую. Руки разошлись под его ступнями, мягко, как расходится тёплый ил, и тут же сомкнулись снова, вокруг лодыжек, вокруг икр, и было это не больно, а тепло, тепло и тесно, как в слишком маленьком сапоге, который тебе одолжили. Он встал. Синева дошла ему до колен. Он сделал шаг. Руки под ним перехватили ногу, ощупали, отпустили. Он сделал другой шаг, длиннее, вбок, не так, как первый. Руки ощупали и отпустили.

На третьем шаге он провалился по пояс.

Это случилось сразу, без предупреждения: под ногой просто не оказалось дна, и синева поднялась ему до живота, до пояса, и тысяча пальцев одновременно схватилась за него, за штаны, за ремень, за рубашку, за кожу под рубашкой. Хватка была мягкая. Мягкая и со всех сторон. Его не тянули вниз. Его просто держали, все, разом, как держат ребёнка, который чуть

не упал, и в этой хватке не было ни злобы, ни голода, только огромное, слепое, бессловесное желание не отпускать.

И он испугался.

Он испугался так, как не пугался ни разу с тех пор, как ему было девять и отец ушёл, и он стоял на лестнице и смотрел ему вслед, и знал, что если побежит за ним, то отец обернётся и скажет, чтобы он шёл домой, и поэтому не побежал. Тело его само рванулось вверх, к ступеням, к свету, к люку. Руки под ним сжались. Все. Разом. Не больно, но так крепко, что он почувствовал, как у него хрустнули рёбра, и понял, что Вурха права: если он рванётся ещё раз, его возьмут совсем. Не со зла. Просто потому, что он вырывается.

— Стой, — сказала Вурха сверху. Тихо. — Стой, тощий. Стой. Не дёргайся. Дыши.

Он стоял. Он дышал. Он слышал своё дыхание, и оно было похоже на материно, короткое, с присвистом, и он вдруг поймал себя на том, что считает. Один. Два. Три.

— Руку, — сказала Вурха. — Дай им руку. Ладонью вверх.

Он не мог. Он смотрел на синие пальцы, которые держали его за ремень, за рубашку, за бока, и его левая рука сама собой поднялась к плечу, к вороту, проверить, на месте ли ткань, и замерла там.

— Руку, тощий, — сказала Вурха. — Они ж тоже боятся. Ты у них в доме. Ты к ним пришёл. Не они к тебе.

Четыре. Пять. Шесть.

Он опустил руку. Медленно, так медленно, как подносят ладонь к чужой собаке. Опустил в синеву, раскрытую, ладонью вверх, пустую. Синева была тёплая, гуще воды. Он почувствовал, как в его ладонь ложится чья-то ладонь. Потом ещё одна. Потом пальцы, много пальцев, переплелись с его пальцами, обхватили запястье, прошлись по костяшкам, по линиям ладони, по мозолям от мешка, по ногтям. Ощупывали. Узнавали. Тавьер стоял и давал себя ощупывать и не дёргался, и это было самое трудное, что он делал в жизни, труднее, чем копать могилу для Шарш, труднее, чем стоять у двери Ойсы Квелл, труднее, чем ничего не отвечать на «покажи».



Одиннадцать. Двенадцать.

Хватка на поясе ослабла. Не сразу, по одной руке, по одному пальцу. Как отпускают, когда засыпают.

Девятнадцать. Двадцать.

И тогда он почувствовал её. Совсем рядом, у правого бедра, под поверхностью. Не держала его, как другие. Она двигалась. Крутила. Что-то, чего не было, невидимое, мокрое и тяжёлое, она брала вместе с другой рукой, которой не было, и выкручивала, от себя, к себе, от себя, и снова, и снова, сорок лет без остановки, и с невидимой ткани текла невидимая синяя вода.

Он не стал её хватать. Он подвёл правую руку, раскрытую, ладонью вверх, под её ладонь, и стал ждать. Рука покрутила ещё. Потом остановилась. Потом, будто нашарив наконец то, чего ей не хватало сорок лет, легла на его ладонь, как на кусок ткани, и сжала. И стала выкручивать. Его руку. От себя. Тавьер повернул свою к себе. Она от себя. Он к себе. Они отжимали вместе, вдвоём, левая рука Арвэ Тулла и правая рука Тавьера Нима, невидимую ткань над отстойником под Синим двором, и Тавьер услышал сверху сдавленный звук и не сразу понял, что это плачет старый красильщик.

Большой палец её был у него под пальцами. Ноготь на нём был расщеплён надвое.

— Есть, — сказал Тавьер.

— Не тяни, — сказала Вурха. — Не тяни. Иди с ней. Пусть идёт сама. Пусть думает, что отжимает.

Он пошёл. Шаг вбок. Шаг вперёд, длиннее. Шаг вбок, короче. Синие руки расступались перед ним и смыкались позади, и он шёл по пояс в них, а рука Тулла держала его ладонь и выкручивала её, выкручивала, и он поворачивал свою в ответ, и так они дошли до ступеней. На ступенях рука отпустила его, сама, когда почувствовала камень. Он взял её под ладонь, как берут птенца, и поднял.

Наверху Арвэ Тулл стоял на коленях на синих камнях мостовой. Тавьер выбрался из люка, мокрый, синий до пояса, и протянул ему руку. Тулл не взял. Он смотрел на неё, как смотрят на что-то, чего не ждут уже очень давно и поэтому не верят, когда видят. Потом подставил свою единственную, правую, ладонью вверх, пустую. Его левая рука легла в неё, ощупала, узнала и сжала.

И стала отжимать.

Обратно они ехали медленно. Вурха не ругалась. Тавьер шёл рядом с тележкой, синий до пояса, и с него капало, и прохожие оглядывались, и мальчишки с Мокрого спуска бежали за ним и кричали «синий, синий», пока Вурха не показала им чужую левую руку. Мальчишки отстали.

В каморке под прачечной было так же темно и так же капало сверху. Вурха вкатилась внутрь, развернулась у ящиков, упёрлась руками в пол и долго сидела молча, глядя на него. Тавьер стоял у двери и не знал, уходить ему или нет.

— Сапоги сними, — сказала Вурха. — Краска разъест. Синие ноги будут до конца. Хотя, может, и к лучшему. Красиво.

Он снял. Ноги были синие до колен. Он посмотрел на них и вдруг засмеялся, тихо, коротко, и Вурха хмыкнула.

— Иди сюда.

Он подошёл. Вурха сунула руку за пазуху, туда, где под кожаной курткой, под корой, у неё начиналась бочка рёбер, и достала оттуда что-то в кожаном чехле. Чехол был старый, тёмный, потёртый до блеска, и на нём были вытиснены буквы, которые давно стёрлись. Она развязала ремешок и вытащила нож.

Нож был небольшой, в ладонь длиной, с узким лезвием, сточенным с одного края, и с костяной рукоятью, жёлтой, гладкой, отполированной руками так, что в ней, если поднести к свету, можно было увидеть своё лицо, только маленькое и чужое. Тавьер знал этот нож. Он видел его у Вурхи всю жизнь, на поясе, в руках, когда она разнимала сросшиеся пальцы или вскрывала ящики. Она никому не давала его в руки. Однажды, когда ему было двенадцать, он взял его без спроса со стола, просто посмотреть, и Вурха не разговаривала с ним неделю.

— Держи, — сказала Вурха.

Он не взял.

— Держи, говорю. Руки отвалятся?

Он взял. Рукоять была тёплая, тёплая от неё, от её тела под корой, и лежала в ладони так, будто всегда в ней лежала.

— Это твой, — сказал он.

— Был мой. Теперь твой. Слушай, что скажу, и потом не спрашивай. Ножом не режут. Ножом разнимают. Понял? Внизу тебя будут держать. Там всё держит. Всё, что ты встретишь, захочет тебя взять и не отпускать, как этот синий щенок. Не всё, что держит, надо резать. Почти ничего не надо. Сначала делай, как сегодня: руку ладонью вверх, дыши, считай. Но если уж совсем, если уже по горло, тогда режь. Только не руку. Не того, кто держит. Режь то, за что держат. Рукав. Ремень. Лямку. Пусть оно останется с рукавом. Ему хватит. Понял?

— Понял.

— Не понял. — Вурха отвернулась к ящикам. — Ну и ладно. Иди.

Он стоял. Нож в чехле лежал у него в руке.

— Вурха.

— Иди, говорю. Мать ждёт. Ты ей сегодня нужнее, чем мне. Иди, пока я тебя не выгнала.

— Ты придёшь завтра? К краю?

Вурха не обернулась. Её маленькая третья рука почесала ей спину, под лопаткой, где из неё росла, и замерла. Чужая правая рука, рука игрока, взяла с колена сушёную горошину и покатала её, взад-вперёд.

— Не приду, — сказала она. — Не люблю толпу. Там меня все толкают, а я всех давлю. Нет.

— Ладно, — сказал Тавьер.

Он пошёл к двери. Пригнулся. Шагнул в низкий проём, на свет водостока, на мокрые камни, синими босыми ногами, с сапогами в одной руке и ножом в другой. И тогда, уже ему в спину, Вурха сказала, ворчливо, буднично, как говорят «закрой дверь, дует»:

— Иди, иди. А я, может, догоню.

Он остановился. Обернулся. Вурха Тенн сидела посреди своей каморки на низкой тележке с железными колёсами, огромная, круглая, как бочка, обтянутая корой, с рёбрами, сросшимися в один сплошной панцирь, с пятью руками, из которых две были чужие, а одна детская, и с ногами, которые не ходили уже сто лет. Сверху на неё капала мыльная пена с чужого белья. Догоню. По лестницам, сделанным не для людей. Через хэсс, по пояс, по шею. На тележке.

Он засмеялся.

Он не хотел, оно само. Это было так нелепо, так по-вурхиному, так похоже на всё, что она говорила ему семнадцать лет, на «выбрасывали до нас», на «ревел и не отдавал», на «мне скучно ставить на тех, кто может дойти», что смех поднялся из него, как поднимается вода в люке, и он стоял в дверях, держась за косяк, и смеялся, громко, впервые за много дней, может быть, за много лет, так, как смеялся когда-то маленьким, когда отец говорил «корка тому, кто встал раньше». Он смеялся над тележкой, над рёбрами, над «догоню», над собой, синим до колен, с сапогами в руке. Смеялся, и у него текли слёзы, и он не вытирал их, потому что руки были заняты.

— Ржёт, — сказала Вурха. — Ну ржи, ржи. Смешно ему.

Чужая левая рука, рука возчика, поднялась над корой и показала ему свой знак. От этого он засмеялся ещё сильнее и пошёл прочь, вверх по Мокрому спуску, к дому, к лестнице в сорок две ступени, и смеялся всю дорогу, один, на пустой улице, и люди выглядывали из окон и не понимали, что смешного, а он не мог остановиться.

Вурха не смеялась. Она сидела в темноте и слушала, как его смех уходит вверх по улице, всё тише, всё дальше, пока его не стало совсем, и только капало сверху. Потом её третья рука,

маленькая, та, что показывает дорогу, опустилась на колесо тележки и погладила его, как гладят лошадь перед дальней дорогой.

А смех ещё долго жил на Мокром спуске. Крэнна в водостоках помнит жест дольше, чем хозяин помнит своё имя, и звук она тоже помнит, по-своему, пальцами: несколько ночей подряд после того дня в канавах у прачечной что-то мелко, неровно постукивало по камню, коротко, длинно, коротко, будто кто-то смеялся и никак не мог остановиться. Потом перестало. Потом, через несколько дней, Тавьер вспомнит этот смех на четвёртом ярусе, у двери, и не сможет понять, как он вообще мог когда-то так смеяться.

9. Последнее слово в тёмной кухне

На лестнице к нижней террасе было сорок две ступени, и Тавьер знал каждую. Седьмая качалась. На девятнадцатой кто-то давно, ещё до него, выцарапал рыбу. С тридцатой начинался запах щёлока из материнского окна, и на тридцатой он всегда замедлял шаг, сам не зная зачем. В этот вечер он остановился на тридцатой совсем и постоял, прижимая к груди плоский хлеб, кусок кислого сыра в тряпице и флакон лахха, за который отдал всё, что оставалось от последних двух ночей работы.

Внизу Тэмха шумела так, как шумит только накануне Гуррэна. Из «Хэнниш» доносился голос Шиммы Фро, принимавшей ставки: она не кричала, она выговаривала цифры, и цифры почему-то было слышно через три улицы. Кто-то бил ложкой по котлу. Красильщики с Красильного спуска пели старую песню про лодочника, сбиваясь на каждом втором слове. А над всем этим, ниже, у самого края шахты, плыл один голос, громкий, уверенный и настолько мимо всех нот сразу, что казался нарочным. Трэнь пел. Тавьер узнал бы этот голос и со дна Дрэммара. Он постоял ещё, послушал, как на голос Трэня отвечает собачий вой с соседней террасы, и неожиданно для себя улыбнулся.

Потом поднялся на оставшиеся двенадцать ступеней и открыл дверь.

Шарф начинался прямо у порога. Вернее, он там не начинался, а продолжался: серой петлёй он лежал под ногами, уходил под сундук, поднимался на спинку стула и оттуда, тяжёлыми кольцами, тянулся через всю кухню к окну, где на высоком табурете сидела Мэвва. Два десятка лет она спала так, сидя, потому что лёжа лёгкие складывались внутри неё, как мокрое бельё. Спицы ходили в её руках мелко и быстро. Губы шевелились.

— Тридцать четыре, — сказала она в окно. — Тридцать пять. Хлеб чёрствый?

— Свежий.

— Тридцать шесть. Значит, вчерашний. Сыр кислый?

— Кислый, — сказал Тавьер.

— Тридцать семь. Хорошо, что хоть что-то в этом доме такое, как обещали.

Он поставил покупки на стол и подошёл к ней. Она не повернула головы. От неё пахло тем же, чем пахла вся его жизнь: щёлоком, мокрой шерстью и сладковатым дымом лахха, въевшимся в волосы. Лицо у неё было молодое, гладкое, ей не было и пятидесяти, и только у основания шеи, над воротом, кожа начинала грубеть и темнеть, как темнеет кромка у хлеба, который слишком долго держали у огня. Тавьер знал, что под платьем это идёт ниже, к груди, туда, где за рёбрами срослись её лёгкие. Он ни разу этого не видел. Она ни разу не показывала.

— Ты пришёл раньше, — сказала Мэвва.

— Вурха отпустила.

— Вурха никого не отпускает. Вурха выгоняет. Тридцать девять. — Спица остановилась на полпетли. — Она тебе что-то дала.

Тавьер тронул пояс, где под рубашкой висел в кожаном чехле нож с костяной рукоятью, тёплый, как будто его только что держала чужая ладонь.

— Нож.

— Свой?

— Свой.

Мэвва помолчала. Спица довела петлю.

— Сорок, — сказала она. — Тогда она тебя любит. Иди готовь.

Он готовил. Это было то немногое, что он умел делать в этом доме так, чтобы она не поправляла, и он гордился этим тихо и глупо. Разжёг огонь в печурке, поставил на неё сковороду, порезал хлеб тонко, как она любила, чтобы края хрустели, и положил сверху сыр. Сыр зашипел. Запах кислого молока и горячего теста поднялся к потолку, туда, где на крюках сохли

чужие простыни: Мэвва до сих пор брала тонкое бельё с верхних террас, складывала его, разглаживала ладонями, и Тавьер разносил стопки по домам, а потом приносил назад медные монеты, тёплые от его кармана.

— Левый край, — сказала она, не оборачиваясь.

— Что?

— Сорок шесть. Левый край у сковороды горячее. Сдвинь.

Он не сдвинул, потому что как раз в этот миг пытался перевернуть хлеб ножом, и через десять ударов сердца по кухне пошёл чёрный горький дымок. Тавьер выругался тихо, по-вурхиному, снял сковороду и посмотрел на два куска хлеба, у которых с левого края сыр превратился в уголь.

— Я тебе говорила, — сказала Мэвва.

И вот тогда она повернулась. Улыбалась одними глазами, как улыбалась всегда, когда оказывалась права, а права она оказывалась так часто, что Тавьер в детстве всерьёз думал, будто она умеет видеть немного вперёд. Он показал ей горелый хлеб. Она покачала головой с таким глубоким, таким довольным осуждением, что он засмеялся, а она закашлялась от смеха, и пришлось ждать, пока кашель уляжется, пока она снова найдёт, откуда считать.

— Пятьдесят, — сказала она наконец, сипло. — Сгоревшее мне. Я всё равно не чувствую вкуса.

— Врёшь.

— Чувствую, — согласилась она. — Но сгоревшее всё равно мне. Ты завтра идёшь далеко. Пятьдесят один.

Это было первое, что она сказала про завтра. За все дни, что прошли с тех пор, как Шимма Фро произнесла в таверне слово «пятница», а Ойса Квелл поставила подпись под его допуском, Мэвва не сказала про Гуррэн ни слова. Ни «не ходи», ни «иди», ни своего вечного «я тебе говорила». Она просто вязала быстрее. И вот сказала, мимоходом, между двумя вдохами.

Они ели у окна. Она взяла горелый кусок и честно откусила с горелого края, и жевала долго, глядя на огни Тэмхи, которые уходили вниз, к шахте, террасами, как свечи на ступенях. Сам он есть не мог и всё равно ел, потому что она смотрела. Дышала она коротко, с присвистом. На каждом пятом вдохе внутри у неё что-то влажно щёлкало, словно кто-то наступал на мокрую доску, и этот звук Тавьер ненавидел больше всего на свете и знал лучше, чем собственный голос.

— Шестьдесят, — сказала Мэвва. — Слышишь, как он поёт?

Снизу снова донёсся Трэнь. Теперь, кажется, он пел что-то про любовь, и в Тэмхе на него кричали уже с трёх сторон.

— Слышу.

— Это кто так?

— Носильщик. Ляр Бик. Его все зовут Трэнь. Он идёт со мной.

Мэвва послушала. Трэнь взял ноту, которой не бывает, и удержал её, пока на соседней террасе не хлопнули ставнями.

— Тогда тебе там не будет скучно, — сказала она. — Шестьдесят три. Это хорошо.

В дверь постучали так, как стучат люди, которые не собираются дожидаться ответа, и сразу вошла Пэлла Дронн. Пэлла была кэйной: шестой десяток лет она ходила по нижним террасам и кормила шорров, обтирала их, меняла им тряпки, рассказывала им новости, которых они не просили, и знала про каждый дом Тэмхи больше, чем знали в этом доме. Она была эрна, низкая, широкая, на спине у неё рос нарост, похожий на сложенное крыло, и потому ходила она наклонившись вперёд, как будто всё время шла против ветра. В руках у неё был горшок, обмотанный полотенцем.

— Рыбная похлёбка, — объявила она с порога. — Не нюхай, Мэвва, она хорошая, это просто рыба такая. Тавьер, ты опять жёг сыр. Весь склон знает, что ты жёг сыр. Я с лестницы почуяла и подумала: ну, значит, мальчик дома.

Она поставила горшок на стол, отодвинула ногой петлю шарфа, привычно, как отодвигают спящую кошку, и устроилась на сундуке.

— Я на тебя поставила, — сказала она Тавьеру. — Три монеты. У Шиммы на тебя один к тридцати. Я спросила почему так мало, а она говорит: потому что тощий. А я ей говорю: тощий пролезет, где толстый застрянет. Она записала. Так что не подведи, у меня крыша течёт над свекровью, а она, когда ей капает на темя, начинает рассказывать, как в молодости продавала верёвки, и это сорок лет одна и та же история.

Свекровь Пэллы, старая Гэвва, сидела у неё в сенях, сколько Тавьер себя помнил. От сундука, на котором она когда-то присела отдохнуть, её уже нельзя было отличить, только по голосу: дерево и кожа давно перешли одно в другое, и крышка сундука поднималась и опускалась, когда она дышала.

— Не подведу, — сказал Тавьер.

— Вот и молодец. — Пэлла повернулась к Мэвве. — Значит, как договорились. Лахх на ночь, полфлакона, не больше, а то утром будешь как варёная. Окно с вечера не закрываю. Утром бельё твоё забираю, сама разношу, Тавьер мне расскажет, кому какое. Если ночью станет худо, стучи в стену ложкой, я всё равно не сплю, у меня спина.

— Договорились, — сказала Мэвва. — Семьдесят.

Тавьер посмотрел на одну, потом на другую.

— Когда договорились?

— Третьего дня, — сказала Пэлла и пожала плечами вместе с крылом. — Она меня позвала, когда ты ещё бумагу не подписал. Всё обговорили: и лахх, и окно, и бельё. Ты что, думал, мать тебя отпустит, не устроив, как ей тут без тебя? Она за двадцать лет ничего без порядка не сделала. Даже кашляет по порядку.

— Не болтай, — сказала Мэвва.

— Я не болтаю, я хвалю. — Пэлла поднялась, кряхтя, и наклонилась к Мэвве и поцеловала её в макушку, быстро и сердито, как целуют детей, которые плохо себя вели. — Ешь похлёбку. А ты, — сказала она Тавьеру уже у двери, — ты слушай.

— Что?

Пэлла посмотрела на него снизу вверх, из-под своего крыла, и вдруг стала серьёзной.

— Она скажет одно слово. Может, два. Больше не скажет, не жди. Так ты слушай.

Она вышла. Уже на лестнице, привычно, как говорят на всех лестницах Ирмауна, когда кто-то уходит, она сказала себе под нос: «лёгкого тарха», и сама услышала, что сказала, и зашипела, и сплюнула через крыло, и долго ещё было слышно, как она ругается, спускаясь, и как на седьмой ступени та скрипнула под ней, как скрипела под всеми.

После неё в кухне стало так тихо, что слышно было, как остывает сковорода.

Мэвва не тронула похлёбку. Она снова взяла спицы. Тавьер собрал посуду, вымыл её в тазу, вытер, расставил, потом ещё раз переставил, потом понял, что делает это третий раз, и ушёл к себе.

Шарф заходил и в его комнату: одной петлёй, под кроватью, как кот, который приходит спать к тому, кто его не звал. На трёх полках над печной трубой, где всегда тепло, стояли банки. Сорок три банки, в каждой рука на подстилке из овечьей шерсти, на каждой углём написано, где найдена. Когда он открыл дверь, руки услышали. Они всегда слышали. Пальцы поднялись почти разом, ногти застучали по стеклу, и комната наполнилась тем звуком, который Тавьер про себя называл дождём, хотя дождь звучит совсем не так: мелкое, неровное, нетерпеливое постукивание сорока трёх рук, каждая со своим ритмом.

— Тихо, — сказал он. — Я тут.

Они не затихли. Они никогда не затихали сразу. Пекарь, тяжёлая мужская рука с мукой, навсегда въевшейся в складки кожи, мял шерсть, как тесто, мял его уже девятый год и, кажется, был этим доволен. Ключница, маленькая женская кисть с гладким кольцом, которое вросло в палец так, что над ним поднялся валик плоти, тянулась к крышке и пыталась её повернуть: у неё никогда не получалось, но она пробовала каждый вечер. Малой, детская ладошка, которую Тавьер нашёл в канаве за красильнями и долго не мог понять, как она туда попала, ведь детей в Тэмхе почти нет, просто лежала на шерсти и сжималась и разжималась, медленно, как дышат во сне. У некоторых ногти росли внутрь и закручивались спиралью, у некоторых кожа от тепла трубы ссохлась и пошла тонкими складками, похожими на кружево, и если смотреть долго, это было почти красиво. Если смотреть ещё дольше, это было уже не почти.

Тавьер прошёл вдоль полок и коснулся каждой банки. Он не знал, как прощаются с руками. С ними до него никто не прощался.

— Пэлла будет топить печь, — сказал он им. — Она ворчит, но она хорошая. Не хватайте её. Пекарь, тебя особенно касается.

Пекарь мял тесто.

Он поднял крышку у Ключницы, чтобы поправить шерсть, и та мгновенно, как будто ждала весь вечер, схватила его за палец. Хватка была мягкая, сухая и неожиданно сильная. Холодное кольцо врезалось ему в кожу. Он знал, что дёргать нельзя: рука испугается и сожмёт сильнее, Вурха учила его этому, когда ему было шесть, и он тогда плакал, а Вурха смеялась и говорила, что крэнна, как и люди, держит крепче всего того, кто вырывается. Тавьер стоял и ждал. Ключница держала. Из кухни слышно было, как стучат спицы и как мать считает: «восемьдесят девять, девяносто». Потом пальцы разжались, сами, по одному, как будто рука что-то решила. Он закрыл крышку.

Первую руку в этот дом он принёс в девять лет. Тот год он помнил плохо, кусками: отец ушёл весной, в лагеря лэйнов, вставать во вэрру за себя, и сказал, что вернётся, когда подойдёт место, и засмеялся, и мать тоже засмеялась, потому что оба знали, когда подходит место. А осенью Тавьер нашёл на ступенях руку, большую, тёплую, с мозолями, и принёс её домой в подоле рубахи, и Мэвва, увидев её, закричала так, что прибежала Пэлла. Потом мать долго сидела, глядя на руку на столе. Потом принесла банку. Потом сказала: «Её будут звать Тётка Хадда, у неё пальцы как у моей тётки, та тоже всё время что-то щипала». Тётка Хадда стояла на верхней полке до сих пор и до сих пор щипала шерсть.

Он вышел из комнаты и сел на пол у материнского табурета, спиной к стене, так, как сидел, когда был маленьким и боялся темноты, а она вязала над ним и считала, и он засыпал на сороковом или пятидесятом вдохе, не дослушав.

Она не сказала ничего.

Это было странно. Мэвва не умела молчать. Она говорила с бельём, с ложками, с соседями через стену, с Тавьером, даже когда его не было дома, а он потом находил свои вещи сложенными так, будто их выругали. Она говорила «я тебе говорила» так часто, что эти слова давно стали в доме отдельным предметом, вроде табурета или таза: ими можно было приласкать, отругать, утешить, пожелать спокойной ночи. Сейчас в доме было только два звука: спицы и числа. Сто двенадцать. Стук-стук. Сто тринадцать. Стук.

Тавьер смотрел на шарф.

Шарф лежал по кухне кольцами, и если знать, как его читать, по нему можно было прочитать двадцать три года, как по срезу старого дерева. Мэвва никогда не покупала шерсть одного цвета: брала, что отдавали за работу, что выменивала у красильщиков с Красильного спуска, что оставалось от чужих заказов. Поэтому каждая зима в шарфе была своя. У самого окна, на её коленях, шла нынешняя, тёмно-красная, цвета вина, которого в Тэмхе никто не пил. За ней, на спинке стула, прошлогодняя, болотная, неровная. Ещё дальше песочная полоса: зима, когда он стал крэннером, когда Вурха впервые назвала его «мой тощий» и дала ему первую

тележку. Синяя с белыми крапинами: зима, когда у матери был жар и она вязала в жару, и петли там скачут, как пьяные. Где-то под сундуком начиналась полоса, на которую Тавьер старался не смотреть. Серая, тёмная, как мокрый камень, длинная и узкая, в два раза уже остального шарфа, с такими тугими петлями, что вязание там было твёрдым на ощупь, как кора. Зима, когда ушёл отец. Он ни разу не спрашивал её про эту полосу. Она ни разу не объясняла.

Он хотел что-то сказать. У него было на это весь вечер и, если подумать, двадцать три года, и он перебирал слова и все они были неправильными. «Я вернусь» звучало как отцовское. «Не бойся» звучало глупо: она ничего не боялась, кроме того, что когда-нибудь собьётся и забудет вдохнуть. «Я делаю это для тебя» было правдой, и именно поэтому сказать это было невозможно, потому что она знала, и он знал, что она знает, и что ей нечем на это ответить, кроме молчания. Он помнил, как она смотрела из этого окна на хаммэ у соседей, где старик в белом смеялся во главе стола. Он помнил, как она тогда отвернулась первой.

Стук-стук. Сто сорок. Стук. Сто сорок один.

Город за окном гас неравномерно, террасами, сверху вниз. Белый Иммарр погас первым, там ложатся рано. Потом верхняя Тэмха. Потом только «Хэнниш» горел внизу, у края шахты, жёлтым квадратом, и рядом с ним, на площади, костры мэйруков, которые всю ночь слушают Дрэммар. Трэнь перестал петь. Кто-то, наверное, наконец его побил, а может, он просто уснул, обняв мешок, как спят носильщики, на любой ровной поверхности.

Около полуночи Мэвва опустила спицы на колени.

— Найди начало, — сказала она.

Тавьер поднял голову.

— Что?

— Начало, — повторила она. — Двести шесть. Шарфа. Иди найди.

Он встал и взял шарф в руку там, где тот свисал с её колен, тёплый от неё, и пошёл по нему, перебирая, как идут по верёвке в темноте.

Шарф уходил от окна к столу и обвивал ножку стола три раза, и Тавьер вспомнил, что это сделал он сам, лет в одиннадцать, когда играл, будто стол это лодка, а шарф якорь. С ножки стола шарф поднимался на полку с посудой, ложился за миски, и в одном месте в него была вплетена, вывязана прямо внутрь, медная пуговица: мать потеряла её с платья и не нашла, а потом нашла и решила, что так надёжнее. Дальше шарф спускался на пол и тянулся вдоль печки, и там, где он лежал ближе всего к огню, шерсть подпалилась и пахла палёным, как сегодняшний хлеб. Дальше он забирался на сундук, проходил под сундуком, и Тавьер стоял на коленях и вытаскивал оттуда тугую серую полосу, твёрдую, как кора, и держал её в руках чуть дольше, чем нужно, и пошёл дальше. Дальше была его комната. Шарф проходил под кроватью, где пах пылью и его собственным детством, и выходил с другой стороны, прямо под полками, и сорок три руки в банках потянулись к стеклу, к шерсти, к нему, и стучали, пока он шёл мимо. Синяя полоса с белыми крапинами. Жёлтая, цвета яичного желтка, зима, когда он начал ходить, и рядом, в самой петле, вывязан маленький узелок, он так и не понял зачем. Серая. Серо-голубая, мягкая, вылинявшая почти до белизны, тонкая, как будто её вязал не взрослый человек, а кто-то, кто только учился.

Шарф кончался у двери, на гвозде. Тавьер видел этот гвоздь всю жизнь и ни разу не задумался, почему он вбит так низко, на высоте колена. На этот гвоздь, сказала ему потом Пэлла, когда-то вешали люльку, чтобы мать могла качать её ногой и не отрываться от бельевого чана. Люльки давно не было. Гвоздь остался. И к гвоздю, тугим узлом, был привязан самый первый ряд, светло-серый, цвета воды в полоскальном чане.

Он отвязал его. Узел был старый и не хотел поддаваться, и Тавьер возился долго, ногтями, зубами, и когда тот наконец распустился, его вдруг охватило чувство, что он сделал что-то нельзя, что-то, чего делать было не нужно, и он стоял у двери с началом шарфа в руке и не мог пошевелиться.

— Неси, — сказала мать из кухни. — Двести сорок. Не стой.

Он принёс.

Мэвва взяла серый конец в руки и долго смотрела на него. Потом поднесла к лицу и понюхала, как нюхают бельё, проверяя, высохло ли. Потом положила на колени, и её пальцы, красные, растрескавшиеся, с ногтями, которые от двадцати лет щёлока росли внутрь и загибались в мякоть, быстро и уверенно взялись за петли. Она распускала. Тавьер смотрел и не понимал, а когда понял, хотел сказать «не надо», и не сказал. Мать вытянула нитку на ширину ладони, перехватила, подвязала, закрепила петли в один ряд, сделала узел, второй, затянула и, наклонившись, перекусила шерсть зубами, как перекусывают нитку на пуговице.

На её коленях остался короткий серый лоскут, вывязанный неровно, неумело, с одной петлёй, ушедшей не туда. Длиной в два обхвата запястья. Двадцать три года назад кто-то, кто только учился вязать, начал с него, потому что больше нечем было занять руки, пока в люльке у двери спал ребёнок.

Мэвва взяла его правую руку, развернула ладонью вверх, положила в неё этот лоскут и сжала его пальцы своими. Хватка у неё была горячая и неожиданно сильная. Как у Ключницы.

— Держи, — сказала она. — Держи, пока не дойдёшь.

Он ждал, что она скажет что-нибудь ещё. Он ждал «я тебе говорила». Он ждал его так, как ждут, когда в тёмной комнате нащупываешь знакомую стену. Она не сказала. Она отпустила его руку, взяла спицы и снова начала вязать. На коленях у неё теперь шарф начинался узлом, и узел этот был свежий, туго затянутый, и с этого узла начинался шарф, у которого больше не было серого начала.

— Двести пятьдесят, — сказала она в окно.

Он сидел на полу и завязывал лоскут на левом запястье, двумя оборотами, а потом спустил рукав, и шерсть легла на кожу, и кожа под ней стала тёплой, хотя шерсть только что была холодной. Потом он положил голову ей на колени. Она не возражала. Спицы ходили над его головой, и иногда конец спицы задевал его волосы. Он закрыл глаза.

Он заснул не сразу. Сначала он слушал, как она считает, и, как в детстве, пытался дослушать до конца, но конца у этого не было, и ближе к трёмстам он перестал различать слова.

Если бы он не уснул, он услышал бы, как изменилось то, что она считает. Это случилось где-то в третьем часу ночи, когда «Хэнниш» внизу наконец погас и только костры мэйруков дрожали у края шахты. Мэвва сбилась. Впервые за двадцать лет она сбилась со своих вдохов и не стала искать, откуда начать снова. Она просто положила руку ему на голову, на тёмные волосы, которые в детстве были светлыми, и стала считать другое. Медленно. Шёпотом. Раз. Два. Его вдохи, ровные, длинные, глубокие, такие, каких у неё не было двадцать лет. Пять. Шесть. Она считала их до утра. Своих в ту ночь она не считала, и всё равно дышала, и не знала, как это у неё выходит.

Колокол ударил на рассвете.

Он ударил не громко. Колокол Гуррэна висел над самым краем Дрэммара на трёх старых столбах, и звук у него был низкий, такой низкий, что его скорее чувствовали, чем слышали: в зубах, в подоконнике, в стёклах банок, которые все разом отозвались тонким звоном. Сорок три руки за стеной разом сжались в кулаки. Тавьер открыл глаза.

Мать спала. Или сидела с закрытыми глазами. Спицы лежали у неё на коленях, и шарф лежал у неё на коленях, и окно было открыто, потому что Пэлла с вечера не закрыла его, как договаривались, и в окно шёл серый свет и холодный воздух, которого в комнате, она сказала бы, было слишком много. Губы у неё шевелились. Он наклонился и услышал: «Сорок. Сорок один». Значит, не спала. Или спала и считала во сне.

Он встал. Надел куртку. Проверил на поясе нож Вурхи и подумал, что Вурха сейчас, наверное, ругается у себя в каморке, что ей не дали выспаться, и что она сказала «может,

догоню», и он опять засмеялся, тихо, про себя, над тем, как она это сказала. Взял мешок. Подошёл к двери.

У двери он обернулся.

Она сидела против окна, тёмная против серого. Шарф уходил от неё во все стороны дома, как корни, и уже не был привязан к гвоздю. Колокол ударил второй раз. Тавьер открыл рот, чтобы сказать что-то, что угодно, «до вечера», как он говорил ей каждый день, уходя в обход, и понял, что «до вечера» сейчас неправда, а ничего другого он не придумал.

— Сорок пять, — сказала Мэвва в окно. — Иди.

Он пошёл.

Сорок две ступени. Седьмая качнулась под ним. Тэмха спускалась к шахте серыми террасами, и по всем лестницам, изо всех дверей, люди шли вниз. Эрны катились на тележках, их тащили внуки, правнуки, соседи. Шорров, которых нельзя было сдвинуть с места, разворачивали лицом к краю, и они смотрели, медленно моргая. На площади у края Дрэммара стояла толпа такая плотная, что Тавьер не видел в ней ни одного просвета, и вся эта толпа молчала, и в этом молчании скрипели колёса, шаркали ноги, где-то плакал ребёнок, один, единственный на всю площадь, и все оборачивались на этот плач, как оборачиваются на чудо.

Его пропустили. Кто-то тронул его за плечо, кто-то сказал «тощий», и засмеялись. Он вышел к краю.

Там их было сорок. Он не видел ещё всех, но знал, что их сорок, потому что их всегда сорок. Трэнь с мешком через плечо зевал так, что хрустела челюсть. Высокая девушка в тяжёлом плаще стояла прямо, как стоят на подставке, и смотрела вниз. Огромная женщина, от которой пахло рыбой, переминалась с ноги на ногу. В стороне, в сером, стояли люди Дома Тэнгорр. Старик с корой на лице до самых глаз опирался на палку. И дальше, впереди, за низким каменным бортиком, начиналась тьма, такая глубокая, что глаз не принимал её за глубину и всё пытался увидеть в ней стену.

Колокол ударил третий раз.

Мэйрук у края, тонкий седой человек с ушами, которые давно приросли к голове плоскими раковинами, поднял руку. Площадь втянула воздух. На мгновение в Тэмхе не было ни одного звука, кроме ветра в канатах колокола, и в этой тишине Тавьеру показалось, хотя этого не могло быть, что он слышит с нижней террасы, через всю площадь и сорок две ступени, как мать говорит в окно следующее число.

Мэйрук назвал первое имя. Человек, которого назвали, шагнул к краю, перекинул ногу через бортик и встал на первую ступень Дрэммара, сделанную не для людей. Толпа выдохнула.

Тавьер стиснул левое запястье под рукавом, и шерсть под пальцами была тёплая.

10. Рыба, скорченная у колодца

Мэйрук называл имена вполголоса. Громче здесь было уже нельзя, у самого бортика, хотя до первого яруса оставалось полдня пути вниз, и площадь за спиной у сорока стояла так, что слышно было, как у кого-то в толпе урчит пустой живот. Мэйрук наклонялся к книге, которую держала перед ним ратхина, читал имя, распрямлялся и говорил его в шахту, а не людям: Дрэммару сообщали, кто к нему идёт. Голос у него был сухой, шелестящий. Уши, приросшие к голове плоскими раковинами, шевелились, когда он говорил, и продолжали слушать даже сейчас.

Книгу держала Ойса Квелл. На ветру, в сером плаще с поднятым воротом, она казалась меньше, чем за столом, и Тавьер узнал её не сразу. Страницы она переворачивала одним пальцем и после каждого имени ставила на полях точку. Тавьер видел, как перо касается бумаги. Ветер трепал край страницы, и она прижимала его ладонью, не глядя, тем же жестом, каким задвинула тогда ящик.

Сначала шли Дома. Имена Салварра и Веша, Тэнгорра и малых домов, купивших места ещё весной, звучали длинно, с родовыми приставками, и люди выходили на них одной и той же походкой: их с детства учили, куда ставить ноги. Слуги в цветах своих Домов. Носильщики с туго увязанными тюками. Двое широких неразличимых мужчин в сером несли на плечах три длинные палки, обмотанные тканью, а между ними шёл Сэнхар Тэнгорр, прямой, бледный, с перчаткой на правой руке, и смотрел вниз так, будто шахта задолжала ему денег. Мэйрук наклонялся к каждому, кто перекидывал ногу через бортик, и шептал два слова. Человек кивал и исчезал за краем.

Тавьер стоял среди тех, кого назовут последними, и разглядывал своих. Их было немного, и почти всех он знал если не по имени, то по Тэмхе. Старик-лэйн из коридора Дома Ратха, тот, что держал номерок за щекой, кажется, дремал стоя в своём одеяле с бахромой. Красильщица с синими до локтя руками прижимала к груди узел; Тавьер знал, что в узле, и старался не смотреть. Молодой лэйн в сапогах на два размера больше всё оглядывался на толпу, искал кого-то, кто не пришёл. Высокий старик в коре до самых глаз извинялся перед бортиком, который задел полой. Женщина с седой косой до пояса жевала что-то, долго, не глотая. Огромная женщина в кожаном фартуке поверх двух курток пахла рыбой так, что вокруг неё сам собой образовался круг, и стояла в его середине с видом торговки, которая ждёт, когда покупатель перестанет притворяться, что ему не нужна рыба.

И ещё были братья.

Тавьер видел их в коридоре ратха и решил тогда, что это от бессонной ночи. Но и сейчас, при свете, они были одинаковые. Эрны лет по сто пятьдесят, невысокие, плотные, с широкими ладонями бочаров, и кора пошла на обоих от левого виска по скуле на шею одним извилистым узором, вплоть до трещин. Тавьер всю жизнь смотрел на тела и отличал одну руку от другой по тому, как она сгибает мизинец. Здесь он разницы не нашёл. Было в этом что-то неприличное, как в двух одинаковых надписях на могильных плитах, если бы в Ирмауне ещё ставили плиты.

Они стояли плечом к плечу и всё ещё спорили. Шёпотом, не поворачивая голов.

— Ты пойдёшь сзади, — шептал один.

— Я пойду где хочу.

— Ты пойдёшь сзади. Если меня возьмут, ты должен видеть, где.

— Если тебя возьмут, я тебя вытащу.

— Ты меня не вытащишь, ты в колодец за ведром не мог слазить.

— Мне было восемь.

— Тебе было восемь, а мне было восемь и я слазил.

Тот, что справа, дрожал мелко, всем телом, до бахромы на куртке, и стиснутые зубы не помогали. Левый посмотрел на него искоса и сделал лицо. Тавьер не сразу понял, что произошло. Щёки надулись, глаза сошлись к переносице, губы вытянулись трубочкой: глупая, обиженная, лупоглазая рыба. Она продержалась мгновение и пропала, и рядом снова стоял серьёзный человек, проживший сто пятьдесят лет.

Правый фыркнул. Громко, носом, на всю притихшую площадь.

Мэйрук повернул голову. Ойса Квелл подняла глаза от книги. Правый брат побагровел до самой коры и зажал рот ладонью, плечи у него затряслись уже по-другому, а левый смотрел прямо перед собой с каменным лицом, и только уголок рта у него подрагивал.

— Гальм, — сказал мэйрук в шахту. — Фэрр. Гальм. Фэнн.

Они пошли вместе. Мэйрук прошептал каждому свои два слова; Фэрр кивнул, Фэнн, не отнимая ладони ото рта, кивнул тоже. У бортика Фэрр на мгновение положил брату руку на затылок, как кладут мальчишке, и они перешагнули за край.

Ближе к концу книги мэйрук назвал «Бик, Ляр», и Трэнь вышел к бортику и раскланялся. Во все стороны: площади, Иммарру наверху, мэйрукам, ратхине, самому Дрэммару, широко, прижав ладонь к груди, по-ярмарочному, после песни, за которую не заплатили. Смеяться было нельзя, никто и не засмеялся. Но по площади прошла рябь, у людей задрожали плечи, старый носильщик в первом ряду закрыл лицо руками и раскачивался. Трэнь выслушал мэйрука, кивнул очень серьёзно и, перешагивая бортик, подмигнул Тавьеру.

— Виссэн, Кэрра.

Огромная женщина в фартуке пошла к краю. За её спиной рыбный ряд с нижнего берега молча поднял над головами рыбу. Десятки серебряных рыбин, мёртвых, настоящих, закачались над толпой в утреннем свете, и Кэрра обернулась, и её крупное, красное, обветренное лицо на мгновение сделалось совсем детским. Потом она шумно, на всю площадь, высморкалась в край фартука, и мэйрук посмотрел на неё, как на дождь, который пошёл не вовремя.

— Веш, Ульма.

Девушка в тёмно-синем плаще с серебряной вышивкой подняла голову. Плащ был тот самый, о котором она спорила у весов, тяжёлый, с тридцатью узорами, и шла она в нём не сгибаясь: на лестницах, где поют, привыкают держать спину. У бортика она остановилась и посмотрела наверх, не на площадь, а выше, на белые террасы Иммарра, где в утреннем свете горели окна верхних домов. Недолго. Столько, сколько нужно, чтобы запомнить. Потом выслушала мэйрука, кивнула и, уже перекинув ногу через бортик, посмотрела на Тавьера. На его левое плечо. Потом в глаза. «Покажи», сказала она ему в «Ваммэ», он промолчал, и она не стала настаивать. Сейчас она только приподняла брови: ну что, идёшь? И исчезла.

Тавьер поискал в толпе тележку с железными колёсами. Он искал её с той минуты, как вышел к краю: среди эрнов на тележках, среди лаххеров, среди крэннеров, стоявших отдельной кучкой со своими мешками. Пэтт, мальчишка, которого Вурха учила не выбрасывать пальцы, стоял среди них и смотрел на Тавьера так, будто хотел что-то сказать и не знал, можно ли. Вурхи не было. «Может, догоню», сказала она. Тавьер улыбнулся углом рта. Вурха не вставала до полудня, даже если горела крыша.

Зато он увидел Шимму Фро. Её кресло стояло у самого бортика, сбоку от мэйруков, на месте, которое ей никто не давал и которое никто не решился бы занять. Книга ставок лежала раскрытая. Шимма смотрела не на участников, а на толпу, и губы её беззвучно двигались: она принимала ставки даже сейчас, взглядами, кивками, движением пальца, и вэрники у неё за спиной записывали. На коленях, там, где всегда лежала кошка, к юбке ещё пристали серые шерстинки и одна рыжая, и Тавьер отвёл глаза. Шимма поймала его взгляд. Подняла палец. Подумала. Подняла второй рядом, чуть пониже: один к тридцати, как говорила Пэлла. Потом сложила пальцы в кулак и коротко, сердито ткнула им в его сторону, что в Тэмхе значило примерно «не позорь меня», а может быть, что-то другое, чего она никогда бы не сказала вслух.

В сером ряду людей Дома Тэнгорр, за спинами носильщиков, стоял Рэнхан с папкой и поправлял манжету. Он увидел Тавьера и перестал поправлять. Они смотрели друг на друга через площадь, через головы, через три года, и Рэнхан кивнул. Тавьер кивнул в ответ.

— Ним, — сказал мэйрук в шахту. — Тавьер.

Площадь, которая и так молчала, замолчала плотнее. Тавьер шёл к бортику, и ему казалось, что на него смотрят все шестьсот тысяч, хотя на площадь не влезла бы и десятая их часть. Он не любил, когда на него смотрят. Он смотрел под ноги. Между камнями старой стёртой брусчатки пробилась крэнна, мелкая, пальцевая, и он машинально отметил, что надо бы собрать, пока не затоптали, и чуть не наклонился.

Ойса Квелл поставила на полях точку. Взгляд её задержался на его левом плече, как тогда, в кабинете, и Тавьер, не думая, закрыл плечо ладонью, вспомнил, что она спросила тогда, не холодно ли ему, и опустил руку.

Мэйрук наклонился к нему. Вблизи от него пахло воском, которым мэйруки натирают уши, и старостью.

— Ниже шёпота, — прошептал он.

Это и были два слова. Правило знал в Ирмауне каждый ребёнок, его пели в считалках: «на первом ярусе тише, чем мышь». Но здесь, у края, от человека, который всю жизнь слушает Дрэммар, оно звучало иначе. Тавьер взялся за бортик, холодный и шершавый, перекинул ногу и встал на первую ступень.

Ступень была ему по пояс. Узкая, в ладонь шириной, со стёртым скруглённым краем, и под ней сразу следующая, тоже по пояс, и дальше вниз и вбок вдоль стены воронки, пока не терялись в тени. Тот, кто вырубил эти ступени, если их кто-то вырубал, ходил на ногах, которые сгибались не так и не там. Тавьер развернулся к стене лицом, нащупал ногой край, перенёс вес. Потом ещё. Потом ещё. Сверху донёсся и оборвался голос мэйрука, назвавший следующее имя, и Тавьер понял, что площади больше не видит.

Он посмотрел вверх: край, над краем серое утреннее небо и голова мэйрука, наклонённая к кому-то у бортика. Вниз он не посмотрел.

Спускались долго. Первый страх успел устать и присесть где-то внутри, и на его место пришла тупая работа тела: развернуться, нащупать край, перенести вес, разжать пальцы, найти, за что взяться ниже. Стена была сначала холодным серым камнем в лишайнике. Потом лишайник кончился. Потом камень стал гладким: его долго трогали. Потом Тавьер, взявшись за стену в сотый раз, почувствовал под ладонью тепло, слабое, как от бока спящей собаки, и отдёрнул руку, а потом, подумав, положил обратно. Стена не возражала.

Свет сверху сжимался. Край воронки был широким серым кругом, потом стал размером с площадь. С двор. С окно. Когда Тавьер снова посмотрел вверх, небо над Дрэммаром было с монету на вытянутой руке, и в этой монете, кажется, пролетела птица, но он не был уверен. Дальше светили лампы: смоляные плошки в медных клетках, которые раздавали в «Ваммэ», на ремешке через плечо. Они покачивались, свет плыл по стене, и сорок огоньков, растянувшихся по ступеням, напоминали вечернюю Тэмху, когда к реке спускаются с фонарями ловить угрей.

Где-то на половине пути сверху упал звук, далёкий, рыхлый, многоголосый, похожий на прибой, если бы в Ирмауне было море. Площадь. Мэйрук назвал последнее имя, бортик опустел, и Тэмха наконец заговорила, закричала, засвистела, ударила ложками в котлы, и Шимма Фро, конечно, уже выкрикивала цифры. Весь этот шум скатился в воронку и тёк по стенам вниз, мимо них, слабея. Тавьер слушал, как он слабеет. Шум ещё был, а потом его уже не было, и нельзя было сказать, когда он кончился. Остались дыхание на ступенях, шорох одежды о камень, стук подошв и чей-то шёпот, считающий ступени.

Трэнь спускался двумя ступенями выше и считал.

— Шестьсот двенадцать, — шептал он. — Шестьсот тринадцать. Тавьер. Эй. Тавьер.

— Что.

— Ты знаешь, что будет, если я собьюсь?

— Что?

— Ничего. Я просто хотел, чтобы кто-то знал, что я считаю. Шестьсот четырнадцать.

Ниже, под Тавьером, спускалась Ульма. Плащ цеплялся за выступы, она подбирала его одной рукой и сердито шептала ему что-то, как собаке, которая тянет поводок не туда. Потом вдруг начала напевать. Без слов, себе под нос, наверное, так же, как всю жизнь напевала на лестницах Дома Веш: на лестницах поют, и ничего с этим не поделать. Ей не было страшно, или было, но песня шла впереди страха, простая, лестничная, три ноты вверх и две вниз. Через сотню ступеней она стала тише. Ещё через сотню перешла в дыхание. Потом её не стало, и Тавьер понял, что Ульма замолчала не потому, что кончилась песня. Они пришли.

Ступени кончились. Под ногами был сухой пол, усыпанный чем-то мелким, что хрустело. Тавьер отступил от стены, обернулся и поднял лампу.

Первый ярус был больше, чем свет.

Свет сорока ламп, собравшихся у подножия лестницы, не доставал ни до потолка, ни до дальней стены, ни, кажется, до боковых. Он упирался в темноту и стоял в ней, как вода в чаше. В темноте было много чего-то. Это чувствовалось затылком, кожей между лопатками. Тавьер поднял лампу выше, к стене, по которой они спустились, и увидел, что она сделана из колыбелей.

Они сидели в стене сотами, ряд над рядом, и ряды уходили вверх, за свет. Деревянные, плетёные, кованые. Дощатые, какие сбивают в Тэмхе для детей прачек и красильщиков, и резные, с птицами и листьями на изголовьях, из белых домов Иммарра. Колыбели-корзины. Колыбели-лодочки. Одна выдолблена из целого бревна. Одна сделана из сундука с отпиленной крышкой, и на боку ещё читалось выжженное клеймо мастера. Между ними было то же тёплое гладкое вещество, что и на ступенях, и колыбели вросли в него глубоко, как врастают в кору гвозди, которые вбили когда-то и забыли.

На каждой колыбели висел колокольчик.

Маленький, медный или оловянный, на шнурке, на крючке, на ленте, давно потерявшей цвет. Такие вешали над детьми в Год Хэйша: считалось, что звон отгоняет мор и будит ребёнка, если тот перестанет дышать во сне. Тавьер слышал это от Вурхи и думал, что сказки. Колокольчики качались. Огонь в лампах стоял прямо, воздух не двигался, а они качались, все, тысячи, сколько хватало света и дальше, за светом, и звенели. Звон был тише шёпота, тоньше, чем звенит в ушах после долгой тишины, без ритма, без конца, со всех сторон сразу, и от него казалось, что ярус дышит. Не как Мэвва, рывками. Как дышит ребёнок, которого наконец уложили.

У Ульмы в плаще зазвенело.

Она вздрогнула и сунула руку под плащ, в кармашек на подкладке, и Тавьер увидел, как сквозь её пальцы пробивался слабый медный голос: колокольчик, зашитый среди тридцати родовых узоров, звонил вместе со стеной. Сам. Ульма сжала его в кулаке, и звон захлебнулся. Она стояла, держа кулак у груди, и смотрела на стену, и лицо у неё было такое, будто стена позвала её по имени.

Люди расходились вдоль стены по двое, по трое, поднимая лампы. Никто не говорил. Шептать здесь никому не хотелось. Кэрра Виссэн стояла с открытым ртом и не закрывала его. Сэйр Модд снял шапку. Люди Тэнгорра молча раскладывали ширму на трёх палках, и даже шорох ткани показался Тавьеру неприличным.

Он подошёл к стене ближе.

В колыбелях лежали дети. Он понял это не сразу, потому что всю жизнь видел другое: плоть, которая не хочет кончаться. Руки, которые сжимаются в банках. Утопленника, который моргает со дна. Обба, который дышит ступенями своего крыльца. Всё, что было живым, оставалось живым, смотрело, шевелилось и хотело. Здесь не шевелилось ничего. В ближней колыбели, резной, с птицей на изголовье, лежал туго спелёнатый свёрток, бурый от времени,

перехваченный тесёмкой, и тесёмка была завязана бантиком, наспех, как завязывают то, что скоро развяжут. У изголовья из свёртка виднелась кость, светлая, гладкая, с ноготь величиной. Тавьер ждал, что она шевельнётся. Поднёс лампу ближе. Она не шевелилась. Она была просто кость. Мёртвая, окончательно и по-настоящему мёртвая, как Шарш на коленях у Шиммы, как пуговица, как засохший цветок на подоконнике у Ойсы Квелл.

Это было первое мёртвое человеческое, что он видел в жизни. Он, крэннер, двадцать три года подбиравший людей с улиц по кусочку. Детей, умерших за день до Шаймарра, просьба не тронула. Их спустили сюда, и они остались такими. Им не было больно. Им не было ничего. Стена пахла сухим деревом, старым молоком и воском, сундуком с приданым, которое так и не понадобилось, и казалась ему не страшной, а невыносимо мирной. Ему захотелось сесть у неё и не вставать.

Рядом красильщица с синими руками развязала узел. Достала детские башмаки, маленькие, сношенные, и поставила в пустую дощатую колыбель без колокольчика, рядышком, носками к изголовью. Посмотрела. Поправила. В узле были ещё башмаки, много, и она пошла вдоль стены от колыбели к колыбели, в каждую пустую ставила пару, не плакала, а шевелила губами, как Мэвва, и Тавьер понял, что она считает.



Братья Гальм стояли чуть дальше, у той же стены.

Фэнн дрожал сильнее, чем наверху: огонёк его лампы прыгал. Он смотрел на колыбели во все глаза, губы у него побелели, и на скуле, под корой, ходили желваки. Фэрр смотрел на брата. Тавьер видел его профиль: лицо человека, который понимает, что тот, кто был с ним

с первой минуты жизни, сейчас сломается, прямо здесь, у этой стены, и не знает, что делать, и знает, что делал всегда.

Он сделал лицо.

Щёки надулись. Глаза сошлись к переносице. Губы вытянулись трубочкой. Та же глупая обиженная рыба, что на площади, что, наверное, была и у колодца, куда один из них лазил за ведром в восемь лет, и на всех похоронах и праздниках их детства, когда ещё были похороны. Фэрр держал её в тишине, под звон колокольчиков, перед стеной из колыбелей, серьёзно, старательно, дольше, чем на площади, глядя на брата сведёнными к носу глазами.

Фэнн засмеялся.

Сначала это был треск ветки: короткий сухой звук из горла, за ним второй, третий, уже голосом. Фэнн согнулся, схватился за живот, лампа заплясала у него в руке, и смех пошёл из самого нутра, захлёбывающийся, взвизгивающий, смех человека, которому так страшно, что больше ничего не осталось. Он смеялся и плакал. Зажимал рот обеими руками, и смех лез сквозь пальцы. Фэрр уже не держал лицо. Он стоял белый, с пустым лицом, и смотрел.

Колокольчики остановились.

Все разом. Тысячи замерли на шнурках, на крючках, на выцветших лентах, в свете и за светом, и тишина обрушилась на ярус такая полная, что Тавьер услышал, как в его лампе потрескивает смола. В Ирмауне не знают тишины. Он не знал, что она бывает такой. Остался только смех. Один. Он звенел по ярусу, отскакивал от стен, уходил вверх, в темноту, где кончались колыбели, и возвращался оттуда, тише, но возвращался, и Фэнн слышал его и не мог перестать.

Потом стена вздохнула.

Тавьер почувствовал это ногами раньше, чем увидел: пол подался, как подаётся грудь под ладонью. Потом со всех сторон, сверху и из-за света, пришёл звук. Шшшшшш. Долгий, мягкий, бесконечно терпеливый, тот, которым мать успокаивает ребёнка, проснувшегося от страшного сна. Его издавала стена. Тысячи колыбелей разом подались вперёд на долю пальца, и «шшш» шло из каждой, ласковое, и у Тавьера на затылке поднялись волосы, а тело, против его воли, захотело закрыть глаза и уснуть.

Стена за спиной у Фэнна раскрылась.

Она не треснула. Она приподнялась, как приподнимают край одеяла. Гладкое тёплое вещество между колыбелями размякло, вытянулось, наклонилось над Фэнном и легло ему на плечи, на спину, бережно и плотно. Фэнн не сопротивлялся. Кажется, он даже не понял. Он ещё смеялся, когда стена подвела край ему под колени, и он сел в неё, и она уложила его на бок и подоткнула со всех сторон привычными, точными, тысячу раз повторёнными движениями, и закрыла голову, лицо, рот, из которого всё ещё рвался смех. Его лампа скатилась к стене и осталась гореть на полу, огнём вверх.

Фэрр рванулся к нему. Огромная рука Кэрры Виссэн легла ему на рот, другая на грудь, и прижала его к фартуку, к двум курткам, к запаху рыбы. Он бился. Она держала. Ничего не говорила, только смотрела поверх его головы на стену, и лицо у неё было мокрое.

Смех ещё слышался. Глухо, изнутри, так слышен через стену смех соседа, когда в доме спят. Потом прерывисто. Потом икотой. Потом всхлипом. Потом дыханием, глубоким и медленным, каким дышат во сне.

Там, где был Фэнн, из стены выступала новая колыбель, гладкая, без резьбы, того же тёплого цвета, и под гладким покровом угадывался свёрток, большой, взрослый, свернувшийся на боку, с поджатыми коленями. Над колыбелью на тонком отростке висел колокольчик. Минуту назад его там не было.

Колокольчики на стене снова закачались, все разом, звон тише шёпота вернулся, и ярус задышал, будто ничего не было. Только новый колокольчик над новой колыбелью качался не

так, как остальные. Медленнее. Шире. Туда и обратно. Туда и обратно. Так качают того, кто никак не может уснуть.

11. Коробочка с пеплом от точек

К полуночи в Доме Ратха перестали скрипеть перья. Все, кроме одного: у входа, в большом зале, ратхин, сросшийся со столом, писал и во сне, и чернила текли у него из ногтей ровной тонкой струйкой, и строчка, которую он выводил, была красивая и ничего не значила. Ойса Квелл слышала её через два коридора. Она давно научилась отличать этот скрип от всех остальных. Он был похож на дыхание.

Она сидела у себя без лампы. Лампа была не нужна: за окном, внизу, на ярмарочной площади, горели костры мэйруков, и свет от них доходил до её стола красноватым, неровным, как от печи, в которую подбросили щепок. Мэйруки лежали на бортике шахты, прижав к камню приросшие уши, и слушали. Кто-то из них время от времени поднимал голову и что-то говорил, и вокруг него сразу собирались люди, и потом расходились. Отсюда, с середины города, они казались совсем маленькими, как крэнна на мостовой.

Ойса сняла туфли. Поставила их рядом, носками к стене, как ставила каждый вечер. Налила себе из кувшина тёмного отвара, который за день остыл и стал горьким, и выпила половину чашки стоя, у окна. Потом отломила от плоского хлеба корку, посолила её из щепоти, которую держала в бумажке в ящике, и съела, медленно, не садясь. Под высоким воротом, у горла, чесалась кора. Она чесалась всегда к ночи, особенно в те дни, когда Ойса много говорила, и сегодня Ойса не говорила почти ничего, а кора всё равно чесалась. Она не стала трогать.

Цветок стоял на подоконнике, в чашке без ручки. За день он уронил ещё один лепесток. Лепесток лежал рядом с чашкой, сухой, свёрнутый трубочкой, цвета старой кожи, и, когда Ойса поставила свою чашку рядом, от движения воздуха он перекатился на бок, и ей показалось, что он вздохнул. Это был её пятый цветок за двадцать лет. Остальные четыре она тоже не выбросила. Они лежали между страницами старой книги актов, которую никто никогда не открывал, потому что люди, записанные в ней, давно закончились.

Посыльный от мэйруков пришёл в сумерках. Мальчишка, найр, лет четырнадцати, с ещё чистой, без единого пятнышка, кожей, запыхавшийся, с важным лицом. Он остановился в дверях и сказал, как его научили, нараспев:

— Первый ярус взял одного. Гальм, Фэнн. Смеялся.

И ушёл. А Ойса открыла книгу, нашла на полях маленькую круглую точку, которую поставила утром у края, и поставила рядом с ней вторую. Чуть ниже. Две точки рядом, одна над другой. Теперь это было похоже на двоеточие, и после двоеточия ничего не следовало.

Братьев она помнила. Они пришли на допуск вдвоём и сели перед ней на два стула, хотя стул в кабинете был один и второй пришлось принести из коридора, и отвечали вдвоём, перебивая, и спорили, кто из них будет хэйрой, если дойдёт один, и решили, что тот, кто дойдёт, тот и будет, а второй будет держать мать за другую руку. Она тогда спросила: «А ей больно?» Мать их была шорроой в бондарне, вросла в верстак, на котором сорок лет набивала обручи. Они переглянулись. Один сказал: «Она поёт». Второй сказал: «Когда поёт, не больно». И оба замолчали, и она поняла, что больно.

Ойса села. Выдвинула ящик.

Ящик был полон. Листы лежали там стопкой, неровной, распухшей, и задвигался он не до конца, его приходилось придавливать коленом. Сверху лежало то, что она писала в прошлом месяце, а на самом дне, под всем, первые, двадцатилетней давности, написанные ещё крупным, круглым, почти детским почерком, которого у неё давно не было. Она никогда их не перечитывала. Она знала, что там. Там было одно и то же, и она писала это одно и то же снова, раз за разом, как пишут прописи, надеясь, что однажды буква выйдет правильной.

Она взяла чистый лист. Обмакнула перо. Перо было то же, что днём, бесшумное. Она подумала, что надо бы когда-нибудь узнать, почему оно не скрипит, и подумала это, как думала каждую ночь, и не узнала.

Она написала:

«Вам.

Сегодня было сорок. Теперь тридцать девять. Мне сказал мальчик-посыльный, у него ещё нет коры, он стоял в дверях и был очень горд, что ему доверили слово «взял». Я его похвалила. Не знаю, за что.

Тот, кого взяли, смеялся. Мне кажется, вам бы это понравилось. Там у вас, наверное, давно никто не смеялся. Я не знаю, слышите ли вы, что делается на первом ярусе. Я надеюсь, что нет. И надеюсь, что да.

Я поставила точку. У меня их много. Я подсчитала однажды, сколько. Потом сожгла лист с подсчётом, а пепел сохранила в коробочке из-под перьев, потому что больше его деть некуда, и теперь он шуршит у меня в шкафу, и это мне по заслугам».

Она остановилась. Посмотрела на окно. Внизу, у бортика, кто-то из мэйруков поднялся и пошёл вдоль края, медленно, как идут по берегу, высматривая в воде утопленника. Ойса обмакнула перо и написала, уже не думая, короткими строками, с пустыми местами между ними:

«Вам шили на вырост. Подол подшивали на шесть пальцев вперёд: матери знают, сколько вы вырастете, матери всегда знают.

Сто сорок лет этот подол не распорот. Никто не распорет. Нитка крепче, чем мы.

Вы научились молчать, как взрослые, научились ждать, как старики, вы научились всему, чему учит время, а ростом всё с тот же порог».

Она прочитала это и поморщилась. Последняя строка была старая. Она писала её уже много раз, в разных стихах, и каждый раз думала, что теперь наконец нашла ей место, и каждый раз место оказывалось не то. Строка была как гвоздь, которым когда-то прибили к стене что-то важное, а потом это важное сняли, и гвоздь остался, и его нельзя выдернуть, потому что тогда в стене останется дыра.

Она писала дальше:

«Сегодня я снова спросила. Я спрашиваю всех. Они удивляются, потому что этого вопроса нет в бумаге, а в Доме Ратха всё, чего нет в бумаге, не бывает. На днях мне ответил крэннер. Тощий, с нижней террасы, у него мать считает вдохи. Он не ответил сразу. Он сначала подумал. Он первый за много лет, кто подумал, прежде чем сказать «да».

Я спрашиваю потому, что про вас никто не спрашивает. Вас нет ни в одной графе. Я смотрела. Я двадцать лет смотрю. Есть графа «имя», и графа «сколько лет», и графа «кто будет держать руку». Нет графы «а вам больно». Если бы она была, я не знаю, что бы я туда писала. У меня мелкий почерк. Его бы не хватило.

В этом году я опять выбрала. Не спрашивайте как. Я не знаю, как выбирают. Я сижу у стены и закрываю глаза, и жду, пока кто-нибудь из вас кашлянет. Тот, кто кашлянет первым. Это нечестно. Я знаю. Я пыталась по-другому. По-другому выходит ещё хуже».

Перо остановилось над листом, и капля с него упала и расплылась, и Ойса долго смотрела, как она расплывается, и не промокнула.

«Ещё в бумаге есть строка без заголовка. Внизу, под подписью. Я пишу туда то, что вижу. Мне никто не объяснял, что туда писать, мне сказали: что увидишь. Сегодня я видела у края плечо. Под рубашкой. Он закрыл его рукой, когда я посмотрела. Я не знаю, кто читает эту строку. Мне кажется, её читают не наверху. Мне кажется, её читают внизу, и от этого у меня ночью чешется горло».

Она отложила перо. Встала. Прошлась по кабинету от окна до двери, пять шагов, и обратно, пять шагов, в чулках, бесшумно. Скрип у входа, в большом зале, всё шёл. Ратхин писал во сне.

Когда она снова села, она написала уже совсем коротко:

«Один засмеялся. Наверху сказали: стена взяла. Я поставила точку, маленькую, круглую, как дырка от гвоздя, на котором висела люлька.

Если сложить все мои точки, выйдет ночь. Не эта. Другая. Та, после которой утром пришли к шахте».

И ниже, после пустого места:

«А это для того, кто сегодня лёг в колыбель вместо вас.

Тебе было страшно, и ты засмеялся. Брат сделал тебе рыбу, как в восемь лет у колодца. Тебя уложили. Тебе подоткнули бок. Тебя качают.

Не бойся. Они там давно. Они покажут, как спать».

Ойса перечитала и отодвинула лист от себя на длину руки, как отодвигают тарелку, когда больше не могут есть. Она не знала, откуда взяла про рыбу. Посыльный сказал только «смеялся». Про рыбу никто не говорил. Она долго сидела и пыталась вспомнить, откуда это пришло, и не вспомнила, и решила, что братья сделали эту рыбу у неё в кабинете, когда спорили, кто будет хэйрой, и она видела и забыла. Это было правдой только наполовину. На вторую половину у неё не было объяснения, и она не стала его искать.

Ночью в Ирмауне такое бывает. Люди знают то, чего им не говорили, и наутро думают, что им приснилось. Город так долго живёт на одном месте, вплотную, впритирку, что слова в нём просачиваются сквозь стены, как вода сквозь известняк. Так объясняют это в Тэмхе. Ойса Квелл в эти объяснения не верила. Она просто записывала.

Она подписалась. Подпись была не та, что на допусках: не фамилия, а одно короткое слово, которое она ставила только под этими письмами и никогда больше нигде. Сложила лист вчетверо. Положила его в ящик, сверху, на прошлый месяц. Ящик не закрылся. Она придавила его коленом, плавно, привычно, как поправляют складку платья, и ящик закрылся почти до конца, оставив щель шириной в палец, из которой выглядывал угол листа.

Потом она встала и взяла с подоконника чашку с цветком.

Она делала это каждый год в эту ночь. Брала чашку, подходила к мусорной корзине у двери, плетёной, куда уборщица утром вытряхивала обрезки бумаги, и стояла над ней. Цветок был лёгкий. В чашке на дне засохла коричневая корочка от воды, которая когда-то была в ней. Стебель согнулся вбок, как шея у спящего, и сухие лепестки чуть шуршали, когда её рука вздрагивала, а рука вздрагивала, хотя Ойса этого не хотела. Это было бы так просто. Наклонить. В Ирмауне всё, что закончилось, можно выбросить. Это единственное, что можно выбросить. Это почти привилегия.

Она стояла над корзиной, пока не устали руки.

Слушай. Много лет спустя, в свой последний час, когда кто-то, очень далеко, будет рассказывать ей её жизнь, она узнает эту ночь сразу, по звуку: скрип чужого пера через два коридора, шорох сухого лепестка, стук колена о ящик. И удивится, что из всех ночей ей рассказали именно эту, где ничего не случилось. А потом поймёт.

Ойса Квелл вернулась к окну и поставила чашку на подоконник, на то же место, на кружок, который чашка за два года вытерла на пыльной доске. Подняла упавший лепесток и положила его в чашку, к остальным. Костры мэйруков внизу догорали. Мэйруки лежали на бортике и слушали, что делается на первом ярусе, где тридцать девять человек сидели на полу под стеной из колыбелей и шептались, и колокольчики качались над ними, тише шёпота.

Письмо осталось в ящике. Цветок остался на подоконнике.

12. Мелодия из глубокой люльки

Ботинки Тавьер снял не сразу. Сначала он долго сидел, привалившись спиной к стене, и смотрел на свои ноги, как смотрят на чужую вещь, которую надо вернуть хозяину, а хозяин не находится. Потом расшнуровал левый. Шнурок был мокрый от пота и не хотел вылезать из дырок. Потом правый. Потом стянул носки и долго мял ступни пальцами, сначала одну, потом другую, и ступни гудели, и это было единственное, что гудело на всём первом ярусе, кроме колокольчиков.

Они шли ещё долго после того, как стена взяла Фэнна Гальма. Никто не сказал «идём». Просто кто-то из людей Салварра поднял лампу и пошёл вдоль стены, дальше, туда, где по слухам начинались ступени на второй ярус, и за ним пошли остальные, и шли они так, как ходят по комнате, где спит больной: на носках, вдоль стены, не задевая её, не глядя на неё, глядя только в спину идущему впереди. Колыбели тянулись над ними. Иногда в свете ламп мелькала резная птица, или вырезанное на изголовье имя, или маленький оловянный колокольчик, который качался ровно над головой, и все пригибались, хотя он висел высоко. Шли часа три. Тавьер не знал точно. В шахте время тянулось, как тянется смола из пробитого бочонка, медленно и сразу во все стороны.

Ступени вниз нашлись в дальней стене, за выступом, тёмной щелью, и из щели тянуло сухим тёплым воздухом и чем-то ещё, чем-то вроде шороха, который был на пределе слышимости, так что Тавьер не был уверен, слышит ли он его или вспоминает. У щели остановились. Кто-то сел. Потом сели все.

Фэрр Гальм не пошёл с ними. Он остался там, у новой колыбели, и Тавьер, обернувшись, видел далеко-далеко, в темноте, одну-единственную лампу, неподвижную, как звезда, которую никто не просил загораться.

Теперь они сидели вдоль стены, тридцать девять человек, по двое, по трое, кучками, и молчали. Не так, как молчали на площади, торжественно и с ожиданием. По-другому. Так молчат, когда боятся, что если открыть рот, оттуда выйдет не то. Тавьер видел, как старик-лэйн, тот, что с номерком, сидит, зажав рот обеими ладонями, хотя ничего не говорит, и просто держит, на всякий случай. Женщина с седой косой медленно жевала, как жевала утром, и Тавьер подумал, что, может быть, она жуёт одно и то же с самой площади, чтобы рот был занят. Люди Тэнгорра поставили свою ширму, и за ширмой горела одна свеча, и на ткани виднелась тень: человек сидел очень прямо и не двигался.

Справа от Тавьера кто-то тяжело опустился на пол, так, что хрустнуло под коленями, и прошептал:

— Я больше не чувствую ног. Я их где-то на трёхсотой ступени оставил. Если найдёшь, они рыжие, в носках разного цвета, верни, пожалуйста.

Трэнь. Он лежал на спине, раскинув руки, и смотрел вверх, в темноту, где кончались колыбели, и лицо у него было серое от усталости и от чего-то ещё.

— Тихо, — прошептал Тавьер.

— Я тихо.

— Ты шутишь.

— Шучу тихо. — Трэнь повернул голову. В свете лампы глаза у него были красные. — А что, нельзя? Ты слышал, чтобы кто-то сказал «нельзя шутить»? Мэйрук сказал «ниже шёпота». Я ниже шёпота. Я так низко, что меня скоро понесут вперёд ногами. Которых нет.

Тавьер не ответил. Он смотрел туда, где горела одинокая лампа Фэрра Гальма. Трэнь проследил его взгляд и помолчал.

— Он засмеялся, — прошептал Трэнь, уже совсем без шутки. — Он засмеялся, потому что брат ему рожу скорчил. Я видел. Ты видел. Они так, наверное, всю жизнь. Сто пятьдесят

лет. Один скорчит, другой засмеётся. — Он сглотнул. — И если мы теперь все будем сидеть с зажатыми ртами, то это, получается, правильно, что его взяли. Получается, так и надо. А я не хочу, чтобы так было надо.

— Его взяли не за то, что он смеялся. За то, что громко.

— Вот я и говорю. Тихо — можно. — Трэнь снова уставился в темноту. — Я, знаешь, никогда в жизни ничего тихо не делал. Мне бабушка говорила, что я и родился вслух. Придётся учиться.

Слева от Тавьера на пол легло что-то тяжёлое, тёмно-синее, расшитое серебром, и следом опустилась Ульма. Она расстелила плащ так, что он лёг на троих, на неё, на Тавьера и на половину Трэня, и сама села на край, подтянув колени к подбородку. Щёки у неё были в пыли, и на одной пыль размазалась полосой, как будто она вытирала лицо, а потом передумала.

— Плащ тяжёлый, — сообщила она шёпотом. — Я спорила с ратхином, что он меньше, чем унесу сама за девять дней. Ратхин был прав. Я его ненавижу.

— Ратхина?

— Плащ. Ратхина тоже, но меньше. — Она подумала. — Нет, одинаково. Нет. Ратхина меньше, он хотя бы был прав, а плащ просто тяжёлый без всякой причины. Хотя причина есть. Тридцать причин. Ладно. Плащ я не ненавижу. Я на него сержусь. Это разное.

— Ты всегда так? — прошептал Трэнь, не поворачивая головы.

— Как?

— Сама с собой торгуешься.

— Я просто не люблю, когда кто-нибудь другой решает, сколько чего стоит, — сказала Ульма. — Даже я сама, пока не подумаю.

Трэнь издал звук. Тавьер напрягся, но звук был не смех, а что-то вроде выдоха через нос, долгого, восхищённого, беззвучного. Ульма посмотрела на Тавьера.

— Пять пальцев, — прошептала она. — Ты ел?

— Нет.

— Я так и думала. — И сразу, без паузы: — У нас в доме говорят «мы так и думали». Я теперь одна, так что говорю «я так и думала». Звучит хуже. Как будто сама себя хвалю.

Она полезла под плащ, в один из кармашков подкладки, и вытащила оттуда плоский хлеб, завёрнутый в белую салфетку с вышитой буквой, и разломила его на три части, посмотрела на них, и одну часть, ту, что больше, сунула Тавьеру в руку, прежде чем он успел сказать, что у него есть свой.

— Я не просил, — прошептал он.

— Я знаю, — сказала Ульма. — Ты никогда не просишь. Это у тебя на лбу написано. Ешь.

Он ел. Хлеб был белый, мягкий, иммаррский, такого он не ел никогда, и пах чем-то сладким, чем пахнут, наверное, их белые дома, и он ел его и думал о горелом хлебе с кислым сыром, который вчера вечером откусывала с горелого края мать, и ему стало так больно, что он перестал жевать. Ульма не смотрела на него. Она смотрела на свои колени. Но он видел, что она видит.

Пол рядом с ними содрогнулся.

Кэрра Виссэн села. Она именно села, не опустилась и не присела, а села, вся, сразу, как садится на берег лодка, которую вытащили на песок, и вокруг неё на полу подпрыгнула мелкая каменная крошка, и ближайший колокольчик на стене качнулся сильнее, чем прочие. Все замерли. Колокольчик подумал и успокоился.

— Подвиньтесь, — сказала Кэрра.

Она сказала это шёпотом. Это был самый громкий шёпот, который Тавьер слышал в жизни. В нём было столько воздуха, сколько в иной песне, и он прокатился вдоль стены, и люди обернулись, и где-то дальше старик-лэйн с номерком ещё крепче прижал ладони к губам, как будто это он сказал. Кэрра посмотрела на колыбели, на ближний колокольчик, на людей,

и лицо у неё сделалось виноватым, как у большой собаки, которая повернулась в тесной кухне и сбила хвостом кувшин.

— Подвиньтесь, — повторила она, уже тише, почти беззвучно, одними губами, и Тавьер с Трэнем подвинулись, и она устроилась рядом с ними, плечом к Тавьеру, и плечо у неё было тёплое, как печь, и пахло рыбой так, что на миг перехватило дыхание. — Кэрра Виссэн. Рыба. Третий причал. Где вода рыжая от ваших красилен, крэннер, спасибо вам за это.

— Тавьер, — сказал Тавьер.

— Знаю. Тощий. На тебя у Шиммы один к тридцати. На меня один к сорока. Я тебя обгоню, вот увидишь. Мне есть куда толкаться. — Она полезла в карман фартука и вытащила оттуда связку сушёной рыбы, серебристой, твёрдой, как щепки, на бечёвке. Отломила по рыбине каждому. Ульме дала две. — Ешь, птичка. Ты как жердочка. На тебя дунешь, ты в стену улетишь.

— Почему птичка? — шёпотом спросила Ульма, держа рыбу двумя пальцами, как держат незнакомый предмет, про который не знают, укусит ли.

— Ты на лестнице пела, — сказала Кэрра. — Тихонько. Я слышала. У меня мать так пела, когда рыбу чистила. Так что птичка. Не спорь, я старше тебя на сто с лишним лет, и я больше.

Ульма понюхала рыбу. Лицо у неё стало сложным. Потом она откусила, и пожевала, и лицо стало ещё сложнее, и Кэрра смотрела на неё с огромным, тёплым, неприличным удовольствием, и Трэнь, лежавший на спине, вдруг затрясся, и зажал рот кулаком, и затрясся сильнее.

Тавьер положил руку ему на грудь. Трэнь тяжело выдохнул через нос и затих.

— Простите, — прошептал он. — Простите. Это не я. Это рыба.

Кэрра подождала, пока все успокоятся, и обвела их взглядом, всех троих, серьёзно и даже торжественно, как оглядывают людей перед тем, как сообщить им о наследстве.

— Мне надо вам кое-что сказать, — прошептала она. — Чтобы потом не было обид.

— Что? — спросил Тавьер.

— Я храплю.

Наступила тишина. Колокольчики звенели в ней, тонко, тише шёпота, со всех сторон.

— Как храпишь? — очень осторожно спросила Ульма.

— Как шарв, — сказала Кэрра. — Мне муж говорил. Второй. Он был мэйрук, двадцать лет слушал шахту, он знает, как шарвы поют на седьмом. Он лежал ночью рядом со мной и говорил: Кэрра, это оно. Это седьмой ярус. Я по тебе могу ставки принимать. — Она вздохнула, и от вздоха у Ульмы шевельнулись волосы. — Первый муж ничего не говорил. Он просто ушёл спать в лодку. Сорок лет спал в лодке. Я думала, он меня не любит. А он, оказывается, просто высыпался.

Тавьер почувствовал, как что-то поднимается у него внутри, снизу, из живота, и он не сразу понял что. Он давно этого не чувствовал. Оно было тёплое и опасное, и оно шло к горлу, и он стиснул зубы.

— И что делать? — прошептала Ульма. Она прижимала салфетку к губам.

— Не знаю, птичка. Я подумала, вы молодые, придумаете. Можете будить. Можете переворачивать. Первый муж меня переворачивал первые пять лет, потом надорвался. Можете держать за нос. — Кэрра задумалась. — Только осторожно. Когда меня держат за нос, я дерусь во сне. Второй муж три недели ходил с синим ухом. Все на причале думали, что я его бью. А я его, честно говоря, и так била, но не так.

Трэнь сел. Медленно, держась за живот, как держатся за рану. Посмотрел на Кэрру. На её огромные руки. На её нос, крупный, обветренный, с красными прожилками.

— Я буду держать, — прошептал он. — Всю ночь. Мне всё равно не спать. Я не умираю. Я репетирую. А тут хоть дело.

И тут Тавьер засмеялся.

Он не издал ни звука. Он понял это потом, когда уже всё кончилось: он сидел, согнувшись, уткнувшись лицом в колени, в тёмно-синий плащ, расшитый серебром, и весь трясся, и рёбра у него болели, и из глаз текло, и ни один звук не вышел из него наружу, ни один, он держал его внутри, как держат в ладонях воду, и вода всё равно лилась сквозь пальцы, только не звуком, а дрожью. Рядом тряслась Ульма, и он чувствовал её плечо, и она тоже не издавала ни звука, только дышала часто и рвано в свою салфетку. Трэнь лежал на спине и бил ладонью по полу, беззвучно, плашмя, раз, другой, третий. Кэрра смотрела на них сверху и улыбалась, и улыбка у неё была растерянная и нежная, и она сама не смеялась, потому что, кажется, не очень понимала, что смешного.

Он не смеялся так с тех пор, как ушёл отец. Он вдруг понял это посреди смеха, и смех от этого не прекратился, а стал другим, тяжелее, и под конец было уже трудно сказать, смеётся он или нет. Беззвучный смех очень похож на беззвучный плач. Со стороны их не отличить. Изнутри, оказывается, тоже.

Колокольчики над ними звенели так же, как раньше. Стена не шелохнулась. Тавьер поднял голову и посмотрел на неё, долго, и она смотрела на него сверху тысячей колыбелей и ничего не делала.

— Можно, — прошептал Трэнь, глядя туда же. Голос у него был сиплый. — Видишь? Тихо можно.

К ним подошёл Сэйр Модд. Он постоял над ними, опираясь на палку, и Тавьер успел подумать, что старик сейчас сделает им замечание, как делают старики, но Модд снял шапку и сказал:

— Простите, уважаемые. Можно я посижу? Там, — он кивнул в сторону, — все молчат. А я, знаете, когда молчат, начинаю думать. А мне думать вредно, я от этого корой обрастаю.

Он сел. Сел долго, в три приёма, с остановками, и палку положил рядом с собой бережно, как кладут спать собаку. И стал рассказывать. Про жену, которая сорок лет назад села отдохнуть на лестнице у них в доме, на пятой ступеньке снизу, и не встала, и теперь она и есть пятая ступенька, и он все сорок лет обходит её по стене, держась за перила, чтобы не наступить, а внуки бегают по ней вверх-вниз, и она смеётся, когда щекотно. Рассказывал он медленно, с подробностями, какого цвета перила и сколько раз их перекрашивали и что сказала жена, когда в последний раз перекрашивали, и Тавьер слушал и смотрел на его руки, тяжёлые, в наплывах коры, лежащие на коленях, и понимал, что старик рассказывает это не им. Он рассказывает это, чтобы не слушать колокольчики.

— Я иду, чтобы ей больше не было щекотно, — сказал Модд в конце, просто, и надел шапку. — Сорок лет, уважаемые. Сорок лет щекотно. Ей уже давно не смешно, а она всё смеётся. Простите.

Он поднялся, в три приёма, и пошёл дальше вдоль стены, к следующей кучке людей, и Тавьер слышал, как он там, шёпотом, начинает снова: «Простите, уважаемые. У меня жена, знаете ли…».

Лампы начали гаснуть. Люди убавляли фитили, берегли смолу, и вдоль стены огоньки делались меньше, один за другим, и темнота подходила ближе, и колыбели над головой уходили в неё, и только звон оставался тем же. Кэрра легла на бок, подложив под голову свой огромный локоть. Трэнь сидел рядом с ней, скрестив ноги, и держал руку наготове возле её носа, и вид у него был сосредоточенный, как у часового.

Ульма сидела, обхватив колени, и держала что-то в кулаке у груди. Тавьер знал что. Он слышал, как оно звенело там, у стены, когда они только пришли.

— Покажи, — прошептал он.

И сам удивился. Это было её слово. Она сказала его ему в «Ваммэ», про плечо, и он промолчал. Ульма тоже, кажется, это услышала. Она посмотрела на него, коротко, с чем-то вроде улыбки, и разжала кулак.

На ладони лежал колокольчик. Маленький, медный, потемневший, со стёртым краем, на обрывке синей ленты, пришитой к подкладке плаща так, чтобы его нельзя было потерять.

— С моей люльки, — прошептала Ульма. — Мама пришила. Тридцатый узор. Его не видно, если не знаешь. Я сама его не видела, пока не надела. — Она смотрела на колокольчик. — Он там звенел вместе со всеми. Сам. Как будто узнал своих. Мне показалось, что если я его не зажму, он уйдёт к ним. Насовсем. И я его держу.

— Держи, — сказал Тавьер. Он не сразу понял, чьим голосом это сказал.

Ульма посмотрела на его левую руку. Он и не заметил, что весь вечер то и дело трогает запястье, сжимает его под рукавом, как будто проверяет, на месте ли пульс. Она ничего не спросила. Она просто ждала, с той же улыбкой, и Тавьер вдруг понял, что она не спросит, ни про плечо, ни про руку, ни про что, будет сидеть и ждать, сколько понадобится, и от этого ему стало легче, а потом труднее, потому что теперь всё зависело только от него.

Он отогнул рукав.

Серая шерсть лежала на запястье двумя оборотами. В полутьме она казалась совсем светлой, почти белой, цвета воды в полоскальном чане. Одна петля в ней ушла не туда.

— Начало, — прошептал он. — Шарфа. Мама двадцать три года вяжет. Вчера отрезала начало.

Ульма протянула палец и, не спрашивая, но так медленно, что можно было десять раз отдёрнуть руку, коснулась шерсти.

— Тёплая, — сказала она удивлённо.

— Она всегда тёплая.

Ульма убрала палец. Посмотрела на свой колокольчик. На его шерсть. Сжала кулак снова.

— Ох, птичка, — пробормотала Кэрра с пола, не открывая глаз. Голос у неё был уже сонный, тягучий. — Ох, крэннер. Ох, мне бы тридцать лет обратно и талию.

Трэнь беззвучно затрясся, держа руку у её носа.

Лампы погасли почти все. У щели, ведущей вниз, оставили одну, общую, на самом маленьком огне. Далеко в темноте горела лампа Фэрра Гальма, неподвижная, одна. Тавьер лёг на спину на край плаща. Над ним в темноте висели колыбели, которых он не видел, и звенели колокольчики, которых он не видел, и ему казалось, что он лежит на дне огромной тёмной люльки и кто-то очень большой качает её, медленно, терпеливо, давно. Он поймал себя на том, что считает. Вдохи. Свои. Раз, два. Он перестал. Через минуту понял, что опять считает.

— Тавьер, — прошептал Трэнь. — Не спишь?

— Нет.

— Я песню сочиняю.

— Сейчас?

— А когда? Наверху мне не давали. Наверху меня все просили замолчать. — Трэнь помолчал. — Про ступеньки. Сколько вниз и ни одной вверх. Число потом вставлю, утром сосчитаю, когда пойдём. Припев четыре раза.

— Почему четыре?

— Потом скажу. Это лучшая шутка в песне, её нельзя тратить заранее. — Трэнь вздохнул. — Хочешь, спою?

Тавьер хотел сказать «нет». Он слышал, как Трэнь поёт. Вся Тэмха слышала. Собаки на верхних террасах слышали и отвечали. Он открыл рот, чтобы сказать «нет», и закрыл. Справа, на краю плаща, приподнялась Ульма.

— Спой, — прошептала она.

Трэнь запел.

Шёпотом. Он никогда в жизни не пел шёпотом, Тавьер это понял по первой же строке: он начал неуверенно, как идут по незнакомой лестнице в темноте, нащупывая ступень. Слов было мало, и они были глупые: про ступеньки, и про то, что вниз их много, а вверх ни одной, и

про носильщика, который несёт сам себя и жалуется, что тяжело. Но звук был другой. Совсем другой. В шёпоте нет нот. В шёпоте нельзя взять мимо, потому что там нечего брать, есть только дыхание и слова и то, как они ложатся одно за другим, и голос Трэня, который наверху был громким, уверенным и мимо всех нот сразу, здесь, внизу, без нот, оказался вдруг тёплым, ровным и очень молодым. Ему было девятнадцать. Тавьер впервые это услышал.

Ульма слушала с открытым ртом. Кэрра на полу перестала сопеть. Кто-то дальше у стены поднял голову.

— Ты не фальшивишь, — прошептала Ульма, когда он остановился перед припевом.

— В шёпоте не бывает фальши, — ответил Трэнь. Голос у него стал странный. — Я всю жизнь не знал. Надо было просто тише.

Он начал припев. «Ни одной вверх». Первый раз.

И колокольчики ответили.

Сначала Тавьер решил, что ему кажется. Звон на стене всегда был неровным, без ритма, как дождь. А сейчас что-то в нём сдвинулось. Где-то справа, высоко, в темноте, один колокольчик ударил на долю мгновения позже, чем должен был, и попал туда, куда Трэнь поставил слово. Потом второй. Потом десяток. Звон стягивался, как стягивается нитка, когда за неё тянут, и колокольчики, которые качались каждый сам по себе сто сорок лет, начали качаться вместе. Медленнее. Туда и обратно. И из звона, тише шёпота, тоньше, чем звенит в ушах, сложилась мелодия.

Это была не песня Трэня. Трэнь замолчал на втором «ни одной вверх» и лежал, не дыша. Это была другая песня, очень старая и очень простая, на три ноты вниз и одну вверх, и Тавьер её не знал и знал, как знают запах, который не могут назвать. Её пели над люльками. Её пели над люльками в Год Хэйша, когда звон вешали, чтобы будить, и пели, чтобы усыплять, и сами не знали, чего хотят больше. Колокольчики пели её Трэню. Тихо. Ниже шёпота. Отвечали.

В кулаке у Ульмы звякнуло. Тонко, медно, в лад. Она не разжала руку. Она прижала кулак к губам, и Тавьер видел, как по её пальцам, по костяшкам, течёт.

Вдоль всей стены, в темноте, люди поднимали головы. Кто-то сел. Кто-то закрыл лицо. Далеко-далеко, в той стороне, откуда они пришли, неподвижная лампа Фэрра Гальма поднялась и замерла выше, чем была, как будто тот, кто её держал, встал на ноги, чтобы лучше слышать.

Колокольчики пели, и стена над ними, тёплая, тысячеколыбельная, едва заметно, на долю пальца, качалась в такт.

13. Овация из невидимой синевы

Кэрра Виссэн не соврала: она храпела как шарв. Всю ночь на первом ярусе, где громче шёпота нельзя, она лежала на боку, огромная, тёплая, в двух куртках, и выдавала из себя такой низкий, такой основательный звук, что колокольчики на стенах отзывались ей тонким дребезгом. Трэнь до рассвета зажимал ей нос, она отмахивалась, не просыпаясь, и попадала ему по уху. Под утро он сдался, лёг рядом и шёпотом сообщил потолку, что если стена заберёт Кэрру за храп, он пойдёт свидетелем и скажет, что это было пение.

Рассвета в шахте не бывает. Есть минута, когда мэйруки наверху, у края, ударяют в колокол, и звук падает в Дрэммар так долго, что успеваешь проснуться, сесть, нашарить ботинок и подумать о чём-то постороннем, прежде чем он дойдёт до тебя. Тавьер думал о каше с чёрной коркой. Колокол дошёл, тусклый, сплющенный глубиной, и колыбели на стенах чуть качнулись, все разом, от одного края яруса до другого, как трава.

Ульма разломила плоский хлеб на четыре части, посмотрела на них, разломила свою ещё пополам и половину отдала Кэрре.

— Тебе нужнее, — прошептала она. — Ты больше.

— Я больше, потому что мне всю жизнь отдавали половину, — прошептала Кэрра. — Не приучай, птичка.

Но взяла.

Сэйр Модд подошёл к ним, когда они уже завязывали мешки. Старик сто сорок лет, эрн, весь в коре до самых глаз, с палкой, на которую он опирался не потому, что не мог идти, а потому, что палка была ему другом и иначе обиделась бы. Он вчера весь вечер рассказывал всем, кто не успел отодвинуться, про свою жену, которая сорок лет назад срослась с лестницей у них дома и стала пятой ступенькой снизу. Он сорок лет обходил её по стене, держась за перила, а внуки бегали по ней, и она смеялась, когда щекотно.

— Простите, — прошептал он, обращаясь не к ним, а к колыбели, которую задел плечом. Потом им: — Молодые люди. Говорят, ниже будет хэсс.

— Будет, — сказал Тавьер.

— Вы крэннер. Я видел ваши руки. — Модд протянул свою, тяжёлую, в наплывах, и Тавьер не сразу понял, что это не просьба, а рукопожатие. — Скажите старику, как с ними говорить.

— С ними не говорят, — ответил Тавьер. — К ним подходят.

Модд кивнул так, будто это объясняло всё, и пошёл к ступеням первым из стариков, постукивая палкой и извиняясь перед каждым выступом.

Ступени вниз были сделаны не для людей. Тавьер это понял ещё вчера, на первых пролётах, но здесь стало ясно совсем: каждая была высотой по пояс и шириной в ладонь, и спускаться по ним приходилось боком, цепляясь за стену, а стена была тёплая, чуть влажная, и на ощупь отвечала. Кто сделал эти ступени, для каких ног, зачем такие узкие и такие высокие, никто в Ирмауне не знал, а если знал, то молчал так давно, что разучился говорить. Ступеней было больше, чем Тавьер успевал запомнить. После трёхсотой он перестал считать, а потом заметил, что Трэнь шевелит губами.

— Четыреста восемь, — прошептал Трэнь. — Четыреста девять. Это чтобы назад знать.

— Назад не ходят.

— Я не для себя. Я для песни. Песня будет называться «Четыреста девять ступенек вниз и ни одной вверх». Припев: «ни одной вверх». Четыре раза.

— Почему четыре?

— Потому что пятый раз меня уже бьют.

Кэрра за его спиной фыркнула, и колыбели над ними качнулись, и все замерли, и стояли так, пока качание не утихло. Потом пошли дальше.

Звук начался раньше, чем они дошли. Сначала Тавьер подумал, что это кровь шумит в ушах от спуска. Потом, что внизу река. Потом он узнал его и остановился так резко, что Ульма ткнулась ему носом в лопатку.

Это был шорох. Сухой, мелкий, бесконечный, похожий на звук, с которым в Тэмхе осенью гонят по мостовой листья, только листьев не было ни в Тэмхе, ни здесь. Он шёл снизу ровно, без перерывов, и в нём не было ни ритма, ни усилия, словно кто-то очень большой, очень спокойный потирал ладони над огнём и не собирался заканчивать. Тавьер слышал этот звук каждую ночь своей жизни, под нижними террасами, у тёплых стен прачечных, в собственной комнате, где на полках стояли банки. Только там он был тихим. Шёпотом. А здесь он был голосом.

— Что это? — спросила Ульма, и уже не шёпотом, потому что внизу было можно, внизу никто бы не услышал шёпота под этим шорохом.

— Руки, — сказал Тавьер.

— Сколько?

Он не ответил, потому что они вышли на последнюю ступень, и ответа не было.

Второй ярус лежал под ними широкой чашей, и в чаше двигалось. Свет здесь давала сама плоть шахты: бледные пятна на стенах, мутные, как глаза у старой рыбы, светились ровно и тускло, и в этом свете было видно далеко, гораздо дальше, чем хотелось. Пол яруса был живой. От ступеней до противоположной стены, где темнел проход на третий, через всю чашу, через холмы и ложбины, лежал настил из рук. Ладони, пальцы, запястья, кисти целиком и обрубки по локоть, ступни, сколько-то ног по колено, и между ними что-то мельче, что Тавьер не стал разглядывать. Они сплелись, срослись краями, вросли друг в друга так плотно, что сверху это было похоже на вязку. На шарф, подумал он, и тут же запретил себе об этом думать. Настил шевелился весь сразу и каждый палец отдельно. Он поднимался и опадал медленными волнами, как грудь спящего, и шорох шёл от этого движения: кожа о кожу, ноготь о ноготь, тысячи, десятки тысяч, сотни, он не знал.

Пахло тёплым. Пахло изнанкой рукавицы, которую долго носили, банным полом, детской шеей, лаххом, старой мазью из жира, которой прачки мажут потрескавшиеся пальцы. Пахло мамой, понял он, и это было хуже всего: здесь пахло руками его матери, как пахнет любая рука, которая много работала.

— Вот куда, — сказал Тавьер вслух, сам того не желая.

— Что?

— Вурха говорит: ничего не выбрасывай, выбрасывали до нас. Я всегда думал, это просто так говорится.

Ульма посмотрела на хэсс, потом на него.

— Это всё выброшено?

— Это всё, что не вернули, — сказал он. — Сто сорок лет.

У края хэсса стояли люди. Почти все, кто был в Гуррэне: тридцать девять человек, тридцать девять, потому что сорокового первый ярус взял вчера и теперь там, где он стоял, на стене было новое, ещё мягкое, ещё тёплое место. Они стояли и смотрели, и никто не шёл первым. Сэнхар Тэнгорр стоял чуть в стороне, у колонны, в сером дорожном плаще, который на комнибудь другом выглядел бы бедно, а на нём выглядел как решение не тратиться на очевидное. Двое его людей, широкие, молчаливые, с одинаковыми лицами, ждали за ним. Сэнхар не смотрел на хэсс. Он смотрел на тех, кто смотрел на хэсс.

— Ну, — сказала Кэрра громко, и тридцать восемь человек вздрогнули, — кто первый, тот и дурак. Я согласна быть дураком, но я самая тяжёлая, и если я провалюсь, вы все пойдёте по мне, как по мосту. Это будет справедливо, потому что я всю жизнь кормила вас рыбой.

Никто не засмеялся. Трэнь засмеялся, но тихо, в рукав, потому что на первом ярусе привык.

Один из участников, молодой, тощий лэйн из лагерей, в чужих сапогах, которые были ему велики, не стал ждать. Тавьер не знал его имени, его вообще мало кто знал, лэйны шли на Гуррэн не за победой, а за тем, чтобы кто-нибудь в лагере потом сказал: этот ходил. Лэйн сделал шаг с последней ступени на хэсс, и хэсс принял его ногу, мягко, как принимает тесто, и чуть сомкнулся вокруг подошвы. Лэйн сделал второй шаг. Третий. Он шёл быстро, ровно, широко, как идут по мокрому полу, и с каждым шагом хэсс под ним шуршал чуть иначе, чуть внимательнее.



Тавьер смотрел не на лэйна. Он смотрел на его следы.

Там, где лэйн ставил ногу, руки расступались, принимали тяжесть, а потом, когда нога уходила, одна или две из них поднимались и медленно, очень точно повторяли то, что только

что почувствовали: прижимались к воздуху ладонью так, как на них давила пятка, сгибали пальцы так, как их сгибал носок сапога. Они пробовали шаг на вкус. Они запоминали.

На седьмом шаге хэсс перед лэйном приподнялся ему навстречу, ровно на той высоте и ровно в ту секунду, где нога должна была опуститься. Руки поймали сапог, как ловят мяч, бережно, всеми пальцами. Лэйн дёрнулся, сапог остался в руках, лэйн упал вперёд на ладони, и ладони под ним подхватили его ладони, переплелись с его пальцами, как пальцы влюблённых, и не отпустили.

Он закричал. Двое из тех, кто стоял ближе, прыгнули на хэсс, схватили его за плечи, рванули. Хэсс подумал и отпустил: не человека, а только руки. Лэйна выдернули на ступени, мокрого, белого, с исцарапанными запястьями, без сапога. Сапог хэсс оставил себе. Он подержал его ещё немного, перекладывая из ладони в ладонь, повертел, ощупал изнутри. Потом сапог ушёл вниз, под поверхность, и там, где он исчез, руки сложились лодочкой и некоторое время держали пустоту.

— Он запоминает шаг, — сказал Тавьер.

Он сказал это тихо, своим, Ульме и Трэню, но оказалось, что слушали все. Он почувствовал на себе взгляды и сразу захотел оказаться где-нибудь за колонной, позади, в тени, там, где он прожил двадцать три года. Он терпеть не мог, когда на него смотрят. Тридцать восемь человек смотрели. Сэнхар Тэнгорр смотрел тоже, и это было как сквозняк.

— Говори, — сказала Ульма. — Ну. Ты знаешь. Говори.

— Если ставить ногу одинаково, — сказал Тавьер, глядя в пол, то есть в руки, — он учится. Два одинаковых шага, и он знает, куда будет третий. Надо всё время по-разному. Длинный, короткий. С пятки, с носка. На ребро. Не в такт. Как будто не умеешь ходить.

Тишина. Только шорох.

А потом Трэнь, Ляр Бик, носильщик девятнадцати лет, которого в «Ваммэ» просили замолчать четыре раза за один ужин, медленно расплылся в улыбке.

— Подождите, — сказал он. — Подождите-подождите. То есть здесь нужно не попадать в ритм?

— Да.

— То есть вообще никогда? Ни разу?

— Да.

Трэнь повернулся к остальным участникам и раскинул руки, как на сцене.

— Люди, — сказал он торжественно. — Всю жизнь мне говорили, что у меня нет ни слуха, ни чувства ритма. Мать говорила. Учитель говорил. Соседи говорили через стену, и стену потом пришлось чинить. Мне говорили: Ляр, ты поёшь, как телега падает с моста. Я всю жизнь ждал. Я знал, что где-нибудь в мире есть место, для которого я создан. — Он снял шапку и прижал её к груди. — Я его нашёл.

И он шагнул на хэсс.

Он пошёл так, как ходил по Тэмхе, когда был пьян, счастлив или нёс на спине чужой сундук: враскачку, вразнобой, то семеня, то загребая, то вдруг на цыпочках, то боком, то подпрыгнув, и никакая сила в мире, никакая рука, запомнившая сто сорок лет чужих шагов, не могла бы угадать, куда он поставит ногу в следующий раз, потому что этого не знал он сам. Руки под ним приподнимались, тянулись, хватали воздух на том месте, где его ноги уже не было, и опадали с таким разочарованным шорохом, что Кэрра вдруг захохотала, громко, всем телом, до слёз, и вслед за ней засмеялся ещё кто-то, и ещё.

— Пою! — крикнул Трэнь с середины чаши. — Я не пою, я иду! Это одно и то же!

Он дошёл до первого холма, встал на нём, кривой, тощий, в съехавшей шапке, и помахал им обеими руками, и хэсс вокруг него поднялся десятком ладоней и помахал в ответ. Медленно. Неуверенно. Как машет ребёнок, который ещё не понял, что это значит, но видит, что так делают.



Смех оборвался.

— Ладно, — сказала Кэрра, вытирая глаза. — Ладно. Хорошо. Видели? Как дурак. Все идём как дураки.

Они пошли как дураки.

Тавьер шёл первым из троих, Ульма за ним, след в след нельзя, поэтому рядом, на расстоянии вытянутой руки, Кэрра замыкала и ругалась шёпотом на каждый шаг, отдельно, разными словами, чтобы и ругань не попадала в ритм. Под ногами было мягко и тепло. Подошва уходила в хэсс на палец, на два, и тогда снизу, сквозь кожу ботинка, Тавьер чувствовал, как его ощупывают. Не хватают. Изучают. Так слепой ощупывает лицо гостя, медленно, кончиками, запоминая скулы. Он видел, как под его ногой раскрывается чья-то ладонь, маленькая, детская, с чернильным пятном на среднем пальце, и как она осторожно трогает его каблук, и как она отпускает. Рядом лежала рука в кольцах. Кольца вросли, кожа наползла на золото и затянула его, и только по буграм под кожей было видно, что когда-то эта рука была богатой и любила, чтобы на неё смотрели. Ещё дальше две ладони, мужская и женская, переплелись пальцами так давно, что срослись в одну, с десятью пальцами и без запястий. Они не шевелились. Хэсс обтекал их бережно, как обтекает вода камень.

— Не смотри вниз, — сказал Тавьер.

— Я не смотрю, — ответила Ульма и смотрела. — Ещё двадцать шагов, и я разрешу себе зажмуриться.

— Не жмурься.

— Я не тебе, я себе. Двадцать шагов. Нет. Тридцать. Ладно, двадцать пять, и это моё последнее предложение, и не торгуйся со мной, я дочь Дома Веш, мы торгуемся с рождения, у нас в доме ругаются ценами. — Она сделала длинный шаг, потом короткий, потом поставила ногу на носок и качнулась. — Двадцать четыре. Тавьер. А что они чувствуют?

— Не знаю.

— Ты же с ними всю жизнь.

— Поэтому и не знаю, — сказал он, и это была правда, и она, кажется, поняла.

Шорох вокруг был ровный, как дождь, когда дождь давно идёт и никуда не торопится. Под ногами вздыхало. Где-то справа, у стены, хэсс выпустил вверх целый пучок пальцев, длинных, белых, и пальцы медленно сложили в воздухе фигуру, которую Тавьер знал: так в Тэмхе показывают тень зайца на стене детям, когда нет свечи для сказки. Заяц пошевелил ушами. Потом пальцы опали.

Посреди чаши хэсс сужался. Два огромных выступа, тёмных, гладких, похожих на колени чего-то, что лежало под полом и не собиралось вставать, сходились там почти вплотную, и между ними оставалось горло шириной в два шага. В горле хэсс был толще. Он не лежал, а стоял там горбом, плотный, как тесто, перебродившее в квашне, и шуршал громче. Обойти было нельзя. Через выступы было нельзя: они были скользкие и теплее, чем хотелось бы, и на них не было ни одной руки, и почему-то это пугало больше, чем руки. Все шли через горло, по одному, и с каждым, кто проходил, хэсс в горле учился ещё чуть-чуть.

Тавьер провёл Ульму, потом обернулся помочь Кэрре, и Кэрра сказала, что если он подаст ей руку, она его поцелует при всех, и он не подал. Она прошла сама, страшная и смешная, задирая колени, как цапля, шагая то вперёд, то вбок, ругаясь на каждом шаге новым словом. На той стороне горла она перевела дух, оглянулась и замолчала.

В горле был Сэйр Модд.

Старик не мог идти как дурак. Он пытался. Тавьер видел, что пытался: он ставил палку то ближе, то дальше, он пробовал шагнуть шире, но колени у него сто лет как были в коре, они сгибались ровно на ту меру, на какую сгибались, и ни на волос больше. Палка, шаг, шаг. Палка, шаг, шаг. Сто сорок лет он ходил так по своему дому, обходя пятую ступеньку, и никакая шахта не могла его переучить. Он шёл медленно, ровно, правильно, как часы.

И хэсс начал подниматься ему навстречу. Сначала под палкой: руки стали подставлять ладони точно туда, куда опускался её конец, и палка уже не стучала, а мягко ложилась в пальцы, и пальцы держали её на секунду дольше, прежде чем отпустить. Потом под ногами. Палка,

шаг, шаг, и на втором шаге хэсс уже поднимался заранее, на палец выше, чем надо, и Модд спотыкался и извинялся.

— Простите, — говорил он рукам. — Простите, уважаемые. Я сейчас. Простите.

За ним в горле стоял Сэнхар Тэнгорр, а за Сэнхаром его люди, а за ними ещё человек двенадцать, и все они стояли на хэссе, который уже знал, как ходит Модд, и потому стал лучше знать, как ходят люди вообще. Тавьер видел, как под сапогами Сэнхара тоже начинают шевелиться пальцы.

Сэнхар сделал шаг вперёд и положил Модду руку на плечо. Вежливо. Так кладут руку на плечо старику, чтобы помочь ему пройти в дверь.

— Простите, — сказал Сэнхар.

И толкнул его вбок.

Не сильно. Ему не нужно было сильно. Модд стоял на одной ноге, палка была в руках у хэсса, и он просто перестал стоять. Он упал с горба в сторону, туда, где хэсс между выступами был глубже, где под ладонями темнело, и хэсс принял его.

Он не утонул и не провалился. Его подняли. Сотни рук подхватили его снизу, под спину, под колени, под затылок, бережно, всеми пальцами сразу, так, как в Тэмхе на День Мэйтарра поднимают над толпой ребёнка, чтобы ему было видно. И понесли. Медленно, из ладоней в ладони, от горла к середине чаши, всё дальше от людей. Он лежал на этих руках, большой, тяжёлый, в своей коре, с открытым ртом, и всё ещё держал палку, и Тавьер слышал, как он говорит. Не кричит. Говорит, как говорят в гостях, когда хозяева слишком стараются.

— Ох. Ну что вы. Простите. Ну что вы, не надо.

Руки передавали его дальше. Хэсс под ним прогнулся. Модд опустился в него по плечи, потом по подбородок, и руки погладили его по лицу, все сразу, как гладят того, кто долго болел. Потом опустились и закрыли его, и над тем местом, где он был, поднялась одна рука с палкой и подержала палку в воздухе, как держат на прощание шапку.

И тогда хэсс замолчал.

Весь. Сразу. Тысяча маленьких ладоней, сто тысяч, сколько их было, одновременно перестали шуршать, и в чаше второго яруса стало так тихо, что Тавьер услышал, как бьётся сердце у Ульмы, хотя она стояла в шаге от него. Он услышал, как у Кэрры в кармане звякнула пряжка. Как кто-то далеко позади всхлипнул и зажал себе рот. Это была не та тишина, что наверху, на первом ярусе, где колыбели. Там тишина была старая, привычная, в ней жили. Эта была новая. Так замолкает комната, когда в неё вносят что-то и все оборачиваются посмотреть.

Хэсс смотрел на то, что ему внесли.

Сэнхар Тэнгорр прошёл горло в этой тишине. Он прошёл своими ровными, правильными шагами, и хэсс не тронул его, потому что был занят. На той стороне Сэнхар остановился, вынул из-за пояса перчатку и надел её на правую руку, очень аккуратно, палец за пальцем.

А потом шорох вернулся, и это было хуже тишины.

Он вернулся волной: хэсс начал вздыматься от середины чаши к краям, медленно, огромно, как грудь, набирающая воздух для крика. Те, кто остался в горле и за горлом, человек десять, закричали и побежали, и бежать было нельзя, потому что бегущий шагает одинаково, и хэсс за десять ударов сердца выучил их всех. Тавьер видел, как руки поднимаются до колен, до пояса. Как лэйн без сапога, тот самый, падает на четвереньки и ладони снова сплетаются с его ладонями. Как женщина с седой косой, участница, имени которой он так и не узнал, стоит неподвижно, а хэсс уже держит её за подол и трогает её пальцы, по одному, считая.

Он не двинулся. Он стоял по эту сторону горла, на твёрдом, и не двинулся, и потом, много лет потом, будет помнить, что не двинулся уже здесь, на втором ярусе, за два дня до двери.

Двинулась Ульма.

Она не пошла туда. Она осталась на месте, рядом с ним, и вцепилась ему в локоть так, что он почувствовал её ногти через рукав. И запела.

Он потом не мог вспомнить мелодию. Её невозможно было запомнить, как невозможно запомнить, с какой стороны подул ветер. Это была песня, которую поют в Иммарре на лестницах, когда несут вниз по ступеням старого шорра на тележке, чтобы тележка не стучала, а он не боялся. Она пела тихо, срывающимся голосом, и страх был слышен в каждом слове.

— Спи, пока дом держит. Спи, пока крыша шапкой. Спи, пока руки помнят, как тебя качали. Ступенька за ступенькой, вниз, вниз, вниз, никто не уронит, никто не отпустит, вниз…

На второй строке хэсс остановился.

Не замолчал, как над Моддом. Остановился. Все руки, сколько их было в чаше, повернулись ладонями вверх. Медленно, одна за другой, от горла к краям, сотни тысяч пальцев раскрылись и легли тыльной стороной вниз, и чаша второго яруса стала похожа на поле, где все стоят под небом и ждут дождя. Так держат руки, когда слушают. Так держат руки, когда просят. Тавьер видел детскую ладонь с чернильным пятном: она тоже лежала раскрытой. Видел две сросшиеся, мужскую и женскую: они разомкнулись. Впервые, может быть, за сто лет. Чтобы слушать.

— Иди, — прошептал он, и не ей, а тем, кто остался в горле. — Идите. Идите сейчас.

Они пошли. По раскрытым ладоням, как по камням в ручье. Лэйн без сапога вытащил руки из рук, и хэсс отпустил его, не заметив. Женщина с седой косой шла, плача, и подол её волочился по ладоням, а ладони не шевелились. Ульма пела. Голос у неё сорвался на третьем куплете, она сглотнула и продолжила ниже, хрипло, совсем не красиво, и не остановилась. Тавьер держал её за локоть и не понимал, кто из них кого держит. Она пела, пока последний человек не ступил с хэсса на камень. Она пела ещё куплет после этого, потому что песня была не кончена, а в Доме Веш не бросают песни посередине, как не бросают шорра на середине лестницы.

Потом замолчала.

Тишина висела над чашей, раскрытой, ждущей. Потом где-то далеко, у противоположной стены, одна пара рук сошлась вместе. Хлопок. Тихий, влажный, неуверенный. Потом ещё один, ближе. Потом три. Потом десять. Потом вся чаша, от края до края, все руки, которые сто сорок лет назад кто-то не смог вернуть, поднялись, нашли себе пару, чужую, какую придётся, и захлопали. Мягко, вразнобой, долго, звуком тёплого ливня по крыше, сделанной из кожи. Детская ладонь с пятном хлопала о мозолистую ладонь грузчика. Рука в кольцах хлопала о ступню. Им было всё равно, с кем. Им хлопали когда-то, и они помнили, как это делается.

Ульма стояла, белая, с мокрым лицом, и не знала, что делать. Потом, медленно, как её учили в Доме Веш перед гостями, она поклонилась.

Овация стала громче.

— Мне так никто никогда не хлопал, — сказал Трэнь хрипло. Он стоял рядом, неизвестно как и когда оказавшийся тут, и шапка у него была мокрая, потому что он мял её всё это время.

— Тебе вообще никто никогда не хлопал, — сказала Кэрра. Голос у неё дрожал. — Тебя просили замолчать.

— Это одно и то же. Просто с другой стороны.

Ночевали на краю, на голом камне у прохода на третий ярус, и камень был тёплый, как печь, которую протопили вчера. Тридцать восемь. Кто-то считал вслух и дошёл до тридцати восьми, а потом ещё раз, и опять до тридцати восьми, и его попросили замолчать. Кэрра оторвала от своей нижней рубахи кусок, в которую дома заворачивала рыбу, судя по запаху, и замотала лэйну босую ногу, и он сказал, что его зовут Бэлл, и что это первый подарок за шесть лет. Сэнхар Тэнгорр ужинал за ширмой: его люди несли её на себе все эти ступени, лёгкую, из натянутой ткани на трёх палках, и поставили её на краю, и за ней горела одна свеча. Никто не видел, как за ширмой Сэнхар снял перчатку и долго, очень долго смотрел на свою правую ладонь, поворачивая её к свече то одной стороной, то другой, как смотрят на вещь, которую купили и не понимают зачем. Никто этого не видел. Это просто было.

Ульма уснула сразу, сидя, привалившись к Кэрре, и Кэрра не храпела, чтобы её не будить, и от этого не спала сама. Трэнь шёпотом сочинял припев. У него ничего не рифмовалось с «хлопали».

Тавьер сидел спиной к хэссу. Он не хотел на него смотреть. Рубашка на левом плече была разорвана: какая-то рука в горле, ещё до Модда, поймала его за рукав и дёрнула, и он вырвался, не заметив, и теперь кора на плече была открыта, тёмная, шершавая, с ладонь величиной. Он не стал прикрывать. Не было сил. Ульма видела, наверное. Она видела всё. Она ничего не сказала, и он был ей за это благодарен так, как не был благодарен никому.

Хэсс за его спиной шуршал. Ровно, спокойно, как раньше, как дождь, который давно идёт. Тавьер слушал его и думал про Модда, про его жену, пятую ступеньку снизу, которая будет ждать, что он вернётся и обойдёт её по стене, и про то, кто скажет ей, и про то, что никто не скажет. Он думал о том, что Модд извинялся. О том, что сам не двинулся.

Он не услышал, как она подошла.

Она подошла так, как он всю жизнь учил себя подходить к ним: медленно, снизу, не спеша, давая время себя заметить. Как к чужой собаке. Одна рука отделилась от края хэсса, проползла по тёплому камню на кончиках пальцев, поднялась по его спине, легко, не тяжелее кошки, и остановилась на плече. На коре. Тавьер замер.

Рука потрогала кору. Кончиками, как трогали его каблук в чаше. Провела по краю пятна. Подумала.

И сжала. Не больно. Бережно, всеми пальцами, чуть дольше, чем нужно, так, как сжимают плечо человеку, которого давно не видели и вдруг узнали в толпе.

14. Недостача вэрницы Фро

Шимма Фро облизала карандаш. Она всегда облизывала его перед тем, как записать ставку, и за сто лет у неё на нижней губе образовалась серая полоска, которая не отмывалась, и Шимма говорила, что это единственная её татуировка и что она стоила дороже, чем у всех моряков с нижнего берега, вместе взятых. Карандаш был короткий, огрызок в полпальца. Она писала им так мелко, что прочесть её книгу ставок мог только тот, кто сам её вёл, а таких было двое: Шимма и кошка. Кошки больше не было.

Левая рука Шиммы сама опустилась на колени, туда, где под пледом всегда лежало тёплое, костлявое, урчащее, и нашла там плед. Шимма посмотрела на свою руку, как смотрят на собаку, которая опять принесла палку покойному хозяину, и вернула её на стол.

— Следующий, — сказала она.

Столом служила доска, положенная поперёк подлокотников её кресла, а креслом служило кресло: большое, кожаное, на трёх колёсах, из которых одно скрипело так, что в Тэмхе по этому скрипу узнавали, что Шимма едет. Сегодня кресло стояло на площади у самого края Дрэммара, в трёх шагах от низкого каменного бортика, за которым начиналась темнота. Привёз его сюда вышибала из «Хэнниш», огромный молчаливый эрн, которого все звали Табуретом с тех пор, как он однажды так долго сидел у двери таверны, что Шимме пришлось отковыривать его от порога стамеской. С тех пор он стоял. Всегда. Даже спал стоя, прислонившись к стене.

— Следующий, — повторила Шимма.

Площадь шумела так, как шумит ярмарка, которой не до торговли. Торговцы урнами разложили свой товар на рогожах у костров, и урны шуршали, тихо, вразнобой, как шуршат в кармане сухие листья, и когда кто-нибудь проходил мимо, шуршание менялось, поворачивалось за ним, и торговцы говорили, что это ирши выбирают себе нового хозяина, и брали за это отдельно. Пахло лаххом, жареной рыбой, мокрым камнем и тем сладким, тёплым, чуть гнилым запахом, который всегда поднимается из шахты к ночи, как поднимается пар над кастрюлей. Мэйруки сидели у бортика в ряд, шестеро, закутанные по уши, и не разговаривали ни друг с другом, ни с людьми. Старший из них, тонкий, седой, с ушами, которые давно приросли к голове плоскими раковинами, лежал животом на бортике, свесив голову в темноту, и не шевелился уже второй час. Он слушал второй ярус.

Звук шёл из Дрэммара долго. Колокол падал вниз полдня, и голос поднимался наверх не быстрее, и всё, что мэйрук говорил сейчас, случилось внизу давно, утром, когда наверху ещё торговали пирогами. Тэмха это знала и всё равно ставила. Ставить на то, что уже случилось, но ещё не дошло, было в Тэмхе отдельным удовольствием, вроде того, чтобы читать письмо от человека, который, может быть, уже передумал.

Следующим оказался долговязый красильщик с Мокрого спуска, у которого руки были синие до локтя, а лицо было красное до ушей, потому что он выпил.

— На тощего, — сказал он. — Две монеты.

— Тощий один к тридцати, — сказала Шимма. — Пэлла Дронн поставила три, ты будешь вторым дураком.

— Мэйрук говорил, что тощий там что-то сказал. Всех слушать заставил.

— Мэйрук сказал «говорит кто-то молодой, тихо, все молчат». Это может быть кто угодно. Это может быть девочка Веш, она тоже молодая. Это может быть носильщик, он, правда, тихо не умеет. — Шимма облизала карандаш. — Тощий один к двадцати. Только для тебя, потому что ты синий и мне тебя жалко.

— Почему к двадцати? Час назад было к тридцати!

— Час назад он не говорил, а все не молчали. Две монеты?

Красильщик заплатил. Шимма записала. Она помнила, как его зовут, как звали его деда, какой масти у него была лошадь в те годы, когда в Тэмхе ещё держали лошадей не в каррэме, и то, что в прошлом Гуррэне он ставил на лэйна и проиграл, и то, что его жена тайком ставила на того же лэйна и тоже проиграла, и что они друг другу так и не сказали. Она помнила всех. Это было её проклятие и её ремесло, и одно от другого она давно не отличала.

Потом пришли трое внуков Сэйра Модда.

Шимма увидела их раньше, чем они дошли: три головы над толпой, одинаково лысые, одинаково наклонённые вперёд, как у деда. Младшему было лет девяносто, старшему сто десять, и они шли так, как ходят люди, которые всю жизнь бегали по лестнице, обходя пятую ступеньку, и потому до сих пор ставят ногу чуть в сторону.

— Тётка Шимма, — сказал старший. — Мы спросить.

— Ваша ставка стоит, — сказала Шимма. — Один к двумстам, что дед дойдёт до дна. Три монеты от каждого. Я записала, я помню, вы мне ещё бабкину брошку предлагали вместо денег, я не взяла.

— Мы не про ставку. Бабка спрашивает, — сказал средний. — Ей надо знать, когда ей уже можно переставать прислушиваться. Она каждую ночь прислушивается, не стучит ли палка внизу, на лестнице. Она по палке его узнаёт.

Шимма открыла рот, чтобы ответить, и не ответила, потому что мэйрук у бортика поднял руку.

Площадь замолчала не сразу. Сначала замолчали те, кто стоял ближе, потом молчание пошло назад, через костры, через рогожи с урнами, через толпу, как идёт по воде круг от брошенного камня, и на дальнем краю площади ещё кто-то договаривал анекдот про ваймера и козу, а потом и он замолчал, на самом смешном месте, и никто так и не узнал, что там было с козой.

— Шуршит, — сказал мэйрук.

Голос у него был сиплый, ровный, без выражения, как у человека, который читает вслух чужое письмо и не хочет, чтобы его заподозрили в чувствах.

— Шуршит. Много. Ровно. Идут. Много ног, все вразнобой. Кто-то смеётся.

По толпе прошёл шепоток. Кто-то сказал: «Носильщик». Кто-то сказал: «Да не, это Виссэн, рыбница, она когда смеётся, у нас на нижнем берегу чайки взлетают». Кто-то шикнул.

— Палка, — сказал мэйрук. — Стучит палка.

Трое внуков Модда стояли рядом с креслом Шиммы, и она, не глядя, почувствовала, как они перестали дышать, все трое разом.

— Палка, шаг, шаг. Палка, шаг, шаг. Медленно. — Мэйрук помолчал. — Кто-то говорит «простите».

Старший внук издал звук, похожий на смех, и прижал ладонь ко рту.

— Это он, — сказал он сквозь ладонь. — Это он, тётка Шимма. Он у всех прощения просит. У двери, когда задевает. У каши, когда пересолит. У бабки, когда обходит.

— Палка. Шаг. — Пауза. — Палка. Ещё кто-то говорит «простите». Другой голос. Молодой. Вежливый.

И потом мэйрук сказал:

— Тихо.

Сначала никто не понял. Думали, он просит тишины, и площадь, которая и так молчала, замолчала ещё сильнее, до звона, до того, что слышно стало, как трещат угли в кострах. Но мэйрук не просил. Он лежал на бортике, свесив голову, и его плоские приросшие уши были повёрнуты вниз, к Дрэммару, и он сказал ещё раз, тем же ровным голосом, только чуть тише:

— Тихо. Там стало тихо. Шорох кончился. Весь.

И тогда это услышала вся Тэмха.

Тишина поднялась из шахты, как поднимается из погреба холод, когда открывают крышку. Она вышла через бортик, прошла по площади, разлилась по нижним улицам, по водостокам, по лестницам, и везде, куда она приходила, крэнна замолкала. Под мостовой, у тёплых стен прачечных, в канавах за красильнями, на подоконниках, в мешках у крэннеров, всюду, где сто сорок лет без перерыва, ночью и днём, шуршали, скребли, постукивали пальцы, отпавшие от хозяев, стало тихо. Все разом. Не по одной, не постепенно, а так, как замолкает зал, когда на сцену выходит тот, кого ждали.

В Ирмауне не знают тишины. Так говорят. Той ночью Ирмаун узнал её на сорок ударов сердца, и потом многие, кто это слышал, рассказывали, что ничего страшнее в жизни не помнят, хотя ничего не случилось, просто стало тихо. Старухи в Тэмхе хватали себя за горло, проверяя, всё ли ещё дышат.

У бортика, чуть левее мэйруков, стояла низкая тележка на железных колёсах. Шимма видела её весь вечер краем глаза и не обращала внимания, потому что тележка стояла тихо, а тележка Вурхи Тенн тихо не стояла никогда. Сейчас Вурха подняла голову. Это было почти невозможно: шея у неё сто лет как вросла в плечи, в корку, которая шла от рёбер до подбородка, и чтобы посмотреть вверх, ей приходилось откидываться всей бочкой. Она откинулась. Её маленькая третья рука, та, что выросла сама из-под лопатки, медленно, неуверенно вытянулась и показала пальцем вниз, в шахту, как показывала дорогу ученикам.

— Ушёл, — сказал мэйрук. — Один. Под хэсс. Палки больше нет.

Внуки Модда стояли не двигаясь. Шимма не смотрела на них. Она смотрела в свою книгу, на строчку, где мелким почерком, огрызком карандаша, было записано: «Модд, Сэйр, Кожевенная, три внука, по три, один к двумстам, бабка ступенька». Она взяла карандаш. Облизала. Подержала над строчкой. И не стала вычёркивать.

— Ставка сгорела, — сказала она, не поднимая головы. — Деньги верну.

Табурет за её спиной шевельнулся. Шимма Фро не возвращала денег. Это знала вся Тэмха, это было записано у неё над стойкой, на доске, мелом, в той же раме, где раньше висела цена на кислое тёмное: «Шимма Фро денег не возвращает». Она не возвращала их вдове красильщика, которого в прошлом году шахта взяла на третьем ярусе. Она не вернула их собственному брату. Она сунула руку под плед, достала кошель, отсчитала девять монет и положила их на доску, в ряд.

— Бабке скажите, — сказала она, — пусть больше не прислушивается.

Старший внук взял монеты. Он смотрел на неё, и губы у него дрожали, и он хотел сказать что-то, и не сказал, и только кивнул, глубоко, по-дедовски, как кивают, когда извиняются. И три лысые головы ушли в толпу, наклонённые вперёд, ставя ноги чуть в сторону.

— Поёт, — сказал мэйрук.

Площадь качнулась.

— Девушка. Поёт. — Он помолчал, слушая. — Лестничную. Ту, что в Иммарре поют, когда шорров носят.

— Веш! — крикнул кто-то. — Девочка Веш!

— Тихо! — крикнули ему со всех сторон, и это было смешно, что на площади, где слушают, как молчит шахта, кричат «тихо», и кто-то фыркнул, и на него тоже зашикали.

Девочка Веш пела, и мэйрук передавал наверх не слова, а только то, что она поёт и что хэсс не шуршит. Хэсс молчит иначе, сказал он. Не как над стариком. Слушает. Шимма не знала, как он отличает одну тишину от другой, и не стала спрашивать, потому что за сто семьдесят лет поняла, что ответы мэйруков всегда хуже вопросов.

Песня там, внизу, кончилась. Мэйрук долго молчал. Потом его плоские уши дрогнули, и он сказал так, будто сам не верил:

— Хлопают.

Никто не понял.

— Хлопают, — сказал мэйрук громче. — Руки. Внизу. Весь хэсс. Хлопают ей.

И площадь у края Дрэммара, полная эрнов и найров, торговцев урнами, крэннеров, красильщиков, лаххеров, пьяных, трезвых, тех, кто пришёл ставить, и тех, кто пришёл смотреть, как ставят, сначала замерла, а потом кто-то, Шимма так и не узнала кто, неуверенно свёл ладони. Хлопок. Один. Потом ещё. Потом рядом. И через десять ударов сердца вся площадь хлопала, неумело, вразнобой, кто чем мог: эрны со сросшимися пальцами хлопали ладонью о колено, шорры, которых внуки привезли на тележках, хлопали веками, кто-то бил ложкой о котёл. Хлопали девушке, которую никто из них не видел, которая пела им утром, а они услышали только ночью, и хлопали рукам, которые ей хлопали, и, может быть, сами не знали, кому.

И где-то под ногами, в водостоке у бортика, в темноте, что-то маленькое и мокрое хлопнуло в ответ. Два раза. И затихло.

А потом крэнна в Тэмхе снова зашуршала, вся сразу, как вода, когда снимают запруду, и Ирмаун снова стал Ирмауном.

Шимма не хлопала. Она писала. Девочка Веш, один к сорока. Девочка Веш, один к двадцати пяти. Носильщик, без изменений. Тощий, один к двадцати. Потом она подняла голову, чтобы позвать следующего, и увидела, что тележка Вурхи у бортика разворачивается.

Вурха разворачивалась медленно, со скрипом, упираясь двумя своими руками в кожаных накладках в камень, и железные колёса скребли по площади, и люди расступались, не глядя, потому что хлопали. Вурха не хлопала. За весь вечер она не сказала ни слова, а Вурха Тенн, которая ругалась на мостовую, на ветер, на собственные колёса, на крэнну, на лаххеров и на мэйруков, которая ругала собственную левую руку за то, что та ругается, не молчала за всю жизнь ни одного вечера. Шимма знала её сто сорок лет, и сто сорок лет они друг друга терпеть не могли, и ни одна из них не пропустила ни одного Гуррэна, чтобы не встать у бортика рядом с другой и не сказать что-нибудь мерзкое про участников.

— Вурха, — сказала Шимма.

Вурха не обернулась. Тележка выкатилась с площади на нижнюю улицу, громыхая, и только чужая левая рука, рука возчика, пришитая у плеча грубыми ваймерскими стежками, поднялась над корой и показала Шимме Фро то, что показывала всем. Как привет. Как всегда.

Шимма посмотрела ей вслед. Потом опустила глаза в книгу. Потом на плед, на колени, где ничего не лежало. Рука её снова пошла вниз, гладить, и на этот раз она не стала её останавливать.

— Следующий, — сказала она.

Пэлла Дронн поднималась по сорока двум ступеням так, как поднималась всегда, наклонившись вперёд, против ветра, которого не было, со своим сложенным крылом на спине, и на седьмой ступени та скрипнула под ней, как скрипела под всеми. Она торопилась. Она несла новость, а новость у кэйны портится быстрее, чем рыбная похлёбка: через час её будет знать весь склон, и тогда какой от неё толк.

Окно Мэввы было открыто, как договаривались. Свет в нём не горел.

— Мэвва, — сказала Пэлла с лестницы. — Мэвва, ты не спишь, я знаю, ты никогда не спишь, слушай, что было, ты не поверишь, девочка Веш…

Она открыла дверь и замолчала.

Мэвва стояла.

Пэлла Дронн знала Мэвву Ним двадцать шесть лет и за последние двадцать ни разу не видела её на ногах. Мэвва сидела. Мэвва сидела на высоком табурете у окна днём и ночью, спала сидя, ела сидя, вязала сидя, и когда Пэлла приходила обтирать её, то обтирала на табурете, а ещё она так и не узнала, какого Мэвва роста, потому что ни разу не видела её выпрямившейся. Оказалось, высокая. Выше Пэллы на голову. Мэвва стояла посреди кухни, держась обеими руками за спинку стула, и вокруг неё на полу, кольцами, лежал шарф. Он не был на

ней. Она из него вышла, как выходят из воды, и он лежал у её ног, тёмно-красный, болотный, песочный, синий с белыми крапинами, и спицы торчали из него, брошенные посреди петли.

— Ты что, — сказала Пэлла шёпотом. — Ты что делаешь.

— Сто девятнадцать, — сказала Мэвва. — Я стучала.

— Я была на площади.

— Я знаю. Сто двадцать. Я стучала ложкой, долго, потом поняла, что ты на площади. — Она дышала коротко, с присвистом, и на каждом пятом вдохе внутри у неё что-то влажно щёлкало. — Посмотри туда.

Пэлла посмотрела, куда та кивнула. За занавеской, в комнате Тавьера, было темно, и сначала она ничего не поняла. Потом поняла, что не так. Там было тихо.

Она отодвинула занавеску. Сорок три банки стояли на полках вдоль стены, и в каждой была рука, и ни одна рука не стучала. Пекарь не мял тесто. Ключница не пыталась открыть крышку. Тётка Хадда на верхней полке ничего не щипала. Все сорок три лежали на дне своих банок в мутной воде с лаххом и солью, и все сорок три лежали ладонями вверх. Раскрытые. Пальцы чуть согнуты. Так держат руки под дождём. Так держат, когда слушают.

Пэлла кормила шорров пятьдесят шесть лет и не боялась ничего, что живёт в Ирмауне. Она взяла с полки ближайшую банку, ту, где лежал Малой, детская ладошка из канавы за красильнями, и встряхнула её, и Малой качнулся в воде, перевернулся и снова лёг ладонью вверх. Как стрелка, которая находит одну сторону.

— Давно? — спросила она.

— Когда на площади стало тихо, — сказала Мэвва. — Сто двадцать шесть. Они все разом. Я четырнадцать лет слышу, как они стучат. Я засыпаю под это. — Она помолчала, поморщилась, сбилась, нашла место. — Сто двадцать семь. Потом на площади хлопали, я слышала. А они не хлопали. Они так и лежат. Пэлла. Выведи меня на крыльцо.

— Ты двадцать лет…

— Я тебе говорила. Выведи меня на крыльцо.

Пэлла поставила банку. Пэлла подошла. Она нагнулась к шарфу, чтобы поднять его, накинуть Мэвве на плечи, потому что ночь была холодная, поздняя осень, и с шахты тянуло, и Мэвва без шарфа не была никогда, Пэлла даже не знала, какие у неё плечи.

— Не надо, — сказала Мэвва. — Он тяжёлый. Сегодня он мне тяжёлый.

Они шли до двери сто сорок вдохов. Пэлла считала вместе с ней, вслух, потому что иначе Мэвва сбивалась, а сбиваться ей было нельзя. Мэвва держалась за неё, за крыло, за плечо, и Пэлла чувствовала, какая она лёгкая, лёгкая, как бельё, когда его снимают с верёвки, пустая внутри, будто там, где у людей лёгкие, у неё было сложенное полотенце. Порог. Крыльцо. Пэлла усадила её на ступеньку, на верхнюю, и села рядом.

Тэмха лежала внизу, террасами, огоньками, до самой площади, до костров мэйруков, до тёмного круга, где земля кончалась. На всех крыльцах сидели люди. Пэлла раньше не замечала, как много в Тэмхе крылец и как на них много сидит. Кто вынес табурет, кто сидел на корточках, кто был крыльцом. Через улицу, на её собственном крыльце, старый Обб, который давно стал ступенями, медленно разлепил глаза, посмотрел на них, узнал Мэвву, которую не видел на улице двадцать лет, и сказал своим глубоким, деревянным голосом:

— А вот когда я торговал верёвками…

— Знаем, Обб, — сказала Пэлла. — Спи.

— …верёвки были хорошие, — сказал Обб и закрыл глаза.

Мэвва смеялась. Тихо, со свистом, держась за грудь, и смех у неё сбивал дыхание, и Пэлла испугалась, и стала считать за неё, сто семьдесят, сто семьдесят один, а Мэвва махнула на неё рукой.

— Рассказывай, — сказала она. — Что там было. Всё.

Пэлла рассказала всё. Про палку и «простите». Про тишину. Про девочку Веш и лестничную песню. Про хлопки. Про то, что мэйрук слышал, как говорил кто-то молодой, тихо, и все молчали, и про то, что Шимма подняла тощего до одного к двадцати, и Пэлла теперь, если что, перекроет себе крышу над Оббом и, может, ещё останется.

— Шимма говорит, это он их учил, — сказала Пэлла. — Как ходить по рукам. Мэйрук слышал «по-разному» и «не в такт». Кто ж ещё про руки знает.

Мэвва долго молчала. Потом сказала:

— Он с детства ходит как попало. Через ступеньку, потом две подряд, потом боком. Я ему говорила, что ноги переломает. — Она улыбнулась в темноту. — А он говорил: мама, я так нарочно, чтобы лестница не привыкла.

— Лестница?

— Он маленький думал, что лестница живая и может выучить, как он ходит, и подставить ногу. — Мэвва закрыла глаза. — Я ему говорила, что это глупость. Я ему говорила.

Пэлла посмотрела на неё и вдруг поняла то, от чего у неё похолодела спина под крылом. Мэвва не считала. Уже давно, уже несколько вдохов, может, десять, может, больше. Она сидела на крыльце с закрытыми глазами, без шарфа, в холодном ветре с шахты, и дышала, и не считала, и дыхание у неё было не ровное, не хорошее, со свистом, со щелчком на каждом пятом, но оно было.

— Мэвва, — сказала Пэлла. — Ты сбилась.

— Я не сбилась, — сказала Мэвва, не открывая глаз. — Я слушаю.

Внизу, по нижней улице, громыхая железными колёсами по мостовой, катилась тележка. Пэлла узнала её по звуку раньше, чем увидела: весь склон знал этот звук, с ним просыпались и под него засыпали сто лет все, у кого в доме был крэннер или кто когда-нибудь терял палец. Тележка катилась быстро, быстрее, чем Пэлла когда-нибудь видела, и не останавливалась у водостоков и не подбирала ничего, и та, что на ней сидела, не ругалась.

Мэвва открыла глаза.

— Вурха, — позвала она.

Голос у неё был слабый, и ветер его отнёс, а может, нет. Вурха Тенн не подняла головы. Тележка прогрохотала под их крыльцом, мимо крыльца Обба, свернула за угол, к каморке крэннеров под прачечной, и звук её стал глуше, а потом затих.

— Она за ним пойдёт, — сказала Мэвва.

— Куда ей, — сказала Пэлла. — Она ж бочка на колёсах. Она по лестнице с террасы на террасу пятьдесят лет не спускается, её Тавьер возит по пандусу.

— Она пойдёт, — сказала Мэвва. — Двести. Двести один. Отведи меня обратно. Я хочу вязать.

Вурха Тенн жила под прачечной на Мокром спуске, в каморке, которую когда-то, сто сорок лет назад, в первую осень после Шаймарра, когда руки впервые поползли по улицам и никто ещё не знал, что с ними делать, она заняла сама, без спроса, потому что там была тёплая стена. Вдоль стены стояли ящики. Над дверью висел нож.

Она вкатилась внутрь и не зажгла света. Свет ей был не нужен. Она знала здесь каждый ящик на ощупь, каждый гвоздь, каждую трещину в полу, по которой колёса вздрагивали, и каждую руку в каждом ящике по тому, как та шуршит. Руки в ящиках не шуршали. Они лежали ладонями вверх, все до одной, как лежали с той минуты, когда на площади стало тихо, и не перевернулись, когда шорох вернулся.

— Ну, — сказала им Вурха. Это было первое слово за вечер, и голос у неё был сиплый, как у человека, который долго кричал, хотя она не кричала. — Ну и чего. Чего уставились. Сама знаю.

Чужая правая рука, рука игрока, перестала катать по колену камешек и легла ей на колено ладонью вверх, как все. Вурха посмотрела на неё.

— И ты туда же, — сказала она.

Она подкатилась к двери и откинулась всей бочкой, всей корой назад, чтобы посмотреть наверх. Нож висел над притолокой на двух гвоздях, так высоко, что никто из учеников не мог его достать, и так давно, что гвозди вросли в дерево, а дерево наползло на них, как кожа наползает на кольцо. Нож был простой, кухонный, с узким, сточенным почти до шила лезвием и рукоятью, обмотанной бечёвкой. Бечёвку меняли. Нож нет. Никто из крэннеров Тэмхи не знал, откуда он, а кто спрашивал, получал в ответ от Вурхи слово, которое при детях не говорят, и больше не спрашивал. Говорили, что это первый нож, которым в Тэмхе срезали крэнну. Говорили разное. Вурха не поправляла.

Свой нож, хороший, с костяной рукоятью, она отдала тощему. Этот был не хороший. Этот был её.

Её маленькая третья рука, та, что выросла сама, вытянулась вверх, за голову, дальше, чем могла, дальше, чем ей было удобно, и пальцы, детские, слабые, нашарили рукоять. Потянули. Гвозди не отдали. Рука потянула ещё раз, и дерево над притолокой треснуло, и нож вышел вместе с гвоздями, вместе с куском наросшей вокруг них древесины, и упал Вурхе на колени.

Она сидела в темноте и держала его своими двумя руками, коричневыми, как корни. Долго. Потом отломила от рукояти дерево, вытащила гвозди, бросила их в ящик, потому что ничего не выбрасывают. Потом вложила нож в маленькую третью руку, и рука сжала его, неловко, по-детски, лезвием вперёд.

Она выкатилась из каморки, не закрыв дверь.

Ночь стояла над Тэмхой холодная, ясная, и по всем водостокам, у всех тёплых стен снова шуршала крэнна, как шуршала всегда. Только в ящиках у Вурхи на тележке руки лежали раскрытые и молчали. Железные колёса загрохотали по Мокрому спуску вниз, мимо прачечной, мимо крыльца, на котором сидела Мэвва Ним, уже уходившая в дом, опираясь на кэйну. Мимо «Хэнниш», где не горел свет, потому что хозяйка была на площади. Мимо площади, где Шимма Фро облизала карандаш и не подняла головы, потому что слышала этот звук сто сорок лет и знала, куда он едет.

У бортика мэйрук с плоскими ушами лежал на камне, свесив голову в Дрэммар. Он услышал колёса. Он слышал всё. Он не обернулся.

Маленькая третья рука Вурхи Тенн, та, которой она всю жизнь показывала ученикам дорогу, вытянулась вперёд, над корой, над бочкой, над ящиками, и показала ножом вниз, туда, где за низким каменным бортиком начиналась первая ступень, сделанная не для людей.

И Вурха поехала, куда показывали.

15. Серьга в прозрачной стене

Утром третьего дня Трэнь объявил, что нашёл рифму к слову «хлопали».

— Слушайте, — прошептал он, хотя шептать здесь было уже необязательно, просто за два дня все привыкли. — «Мы шли по рукам, и руки нам хлопали. А дома нас ждали и, видимо, лопали». В смысле ели. Ели и ждали. Это про то, что дома жизнь продолжается, понимаете? Это глубоко.

— Это ужасно, — сказала Кэрра.

— Это глубоко и ужасно. Как шахта. — Трэнь подумал. — Я назову песню «Как шахта». Нет. «Ни одной вверх» лучше. Тогда это будет второй куплет.

— Сколько у неё будет куплетов?

— Девять. По ярусу на куплет. Если дойду до дна, допишу последний. Если не дойду, допишете вы. — Он показал на Тавьера. — Ты допишешь. У тебя лицо человека, который дописывает за другими.

— У меня лицо человека, который не спал, — сказал Тавьер.

— Вот. Такие и дописывают.

Ульма засмеялась, тихо, в рукав, и Тавьер посмотрел на неё и тоже чуть не засмеялся, и не засмеялся только потому, что не умел так быстро. Она проспала ночь сидя, привалившись к Кэрре, и на щеке у неё отпечатался шов Кэрриной куртки, красной полосой наискосок, как след от верёвки, и она об этом не знала, и никто ей не говорил. Это было лучшее, что Тавьер видел за три дня. Он не сказал ей и об этом.

Рубашку на плече он завязал узлом, чтобы прикрыть кору. Узел вышел плохой, кора всё равно виднелась в прорехе, тёмная, шершавая. Ночью он долго лежал без сна и трогал её. Она была такая же, как всегда. Он надеялся, что почувствует там чужие пальцы, след, тепло, что-нибудь, и не почувствовал ничего, и не знал, хорошо это или плохо. Рука, которая сжала его плечо, ушла обратно в хэсс так же медленно, как пришла. Он не видел, в какую сторону.

Проход на третий ярус начинался не ступенями, а коридором. Широким, в шесть человек, высоким, без потолка: стены уходили вверх, в темноту, и где-то там, наверное, сходились, а может, и нет. Пол шёл под уклон, мягко, как идёт под уклон улица к реке. Свет давали всё те же мутные пятна на стенах, и пятен здесь было больше, и они были ближе друг к другу, и Тавьер не сразу понял, что это не пятна.

Это были лица.

Стена была гладкая, тёплая на вид, цвета внутренней стороны щеки, и под её поверхностью, как под тонким весенним льдом, лежали люди. Близко. На палец под кожей стены, на два. Лица, плечи, ладони, прижатые изнутри к поверхности. Кто-то лежал боком, кто-то стоял, кто-то свернулся, кто-то раскинул руки, и все они светились, тускло, ровно, тем светом, которым светятся пятна на стенах на всех ярусах, и Тавьер вдруг понял, откуда этот свет был там, наверху, и решил, что не будет об этом думать, и думал до самого вечера.

А потом он услышал звук.

Звук шёл из стены, из всех стен, со всех сторон, и это был не шёпот и не пение, хотя и то и другое в нём было. Это было «мам». Два слога, второй ниже первого. Ма-ам. Так ребёнок зовёт мать из соседней комнаты ночью, когда не хочет будить весь дом, но и молчать больше не может: тихо, с надеждой, с маленькой обидой на втором слоге, потому что она должна была прийти сама. Ма-ам. Его повторяли сотни голосов, тысячи, не вместе, не в лад, кто тише, кто громче, кто басом, кто совсем тонко, кто старчески, с трещиной, и все они падали на второй слог вниз, и от этого весь ярус звучал как одна огромная, бесконечная, никогда не кончающаяся лестница, по которой кто-то спускается, ступенька за ступенькой, и никак не может дойти.

Ма-ам.

Тавьер почувствовал, как у него сводит челюсть.

— Не трогайте стену, — сказал кто-то впереди. Это был старик-лэйн в одеяле с бахромой, тот, что держал за щекой номерок у Дома Ратха. Он сказал это негромко, без нажима, как говорят «не наступи в лужу». — И не останавливайтесь. И не отвечайте им. Мне в лагере говорили. Кто остановится, того уложат. Кто ответит, того позовут.

— Кто говорил? — спросил кто-то.

— Тот, кто вернулся, — сказал старик и пошёл дальше, и больше ничего не объяснил.

Они пошли.

Коридор был длинный. Тавьер потом не мог сказать, сколько: час, три, полдня. Здесь время шло по-другому, его отмеряли не шаги, а голоса, и голоса не кончались. Они шли посередине, подальше от стен, тесно, плечом к плечу, тридцать восемь человек, и всё равно стены были близко, всё равно с обеих сторон, на расстоянии вытянутой руки, плыли лица.

Старые лица были самыми спокойными. Те, что лежали в стене давно, сто лет, больше, уже почти не были лицами: стена сгладила их, как вода сглаживает камень, и от них остались только впадины глаз и рот. Рот был всегда. Он открывался и закрывался медленно, на каждом «мам», и стена над ним натягивалась и опадала, как натягивается и опадает плёнка на молоке, когда под ней что-то дышит. Новые лица были хуже. У новых были волосы. Брови. Морщины. Одна женщина лежала в стене совсем у поверхности, щекой к ним, и у неё в ухе была серьга, и серьга торчала наружу, сквозь стену, маленькая, медная, и покачивалась на каждом её «ма-ам», и стена вокруг серьги была чуть розовее, как кожа вокруг свежего прокола.

Было и красивое. Тавьер потом всю жизнь злился на себя за то, что это помнит, а помнил. В одном месте стена была прозрачнее, и в ней, в глубине, лежали двое, мужчина и женщина, очень старые, совсем гладкие, лицом друг к другу, и их руки, вросшие в стену, касались друг друга кончиками пальцев. Они не звали мать. Они звали друг друга, и это тоже было похоже на «ма-ам», два слога, второй ниже, только не «ма-ам», а чьё-то имя, которое стена сгладила так же, как сгладила лица. Тавьер не разобрал, какое.

— Вот бы так, — сказала Ульма тихо, и он понял, что она тоже смотрит. — Нет. Не так. Не здесь. Но вот так.

— Не останавливайся.

— Я не останавливаюсь. Я торгуюсь. — Она шла, глядя на двоих в стене, пока они не уплыли назад. — Сто лет в стене за то, чтобы так касаться. Нет. Десять. Ладно. Ни одного. Ни одного года, ни за что. — Она отвернулась. — Видишь, я отказалась. Я молодец.

Стена услышала её голос. Тавьер увидел это: лица по правую руку от Ульмы, все сразу, медленно повернулись к ней, как поворачиваются подсолнухи, и «ма-ам» с той стороны стало громче, ближе, теплее. Ма-ам. Ма-ам. Они звали её. Её, Ульму Веш, двадцать два года, найру, у которой не было детей и которая шла за ханэ. Сотни голосов звали её мамой, тихо, с надеждой, с обидой на втором слоге, потому что она должна была прийти сама.

Ульма остановилась.

Тавьер взял её за локоть, как вчера, и она пошла, и шла дальше, глядя прямо перед собой, белая, и губы у неё шевелились, и он не слышал, что она говорит, и не хотел слышать.

С Кэррой было иначе. Стена позвала и её, как звала каждую женщину, которая проходила мимо: волна «ма-ам» шла за Кэррой, как за кораблём идёт волна. Кэрра Виссэн шла, огромная, в двух куртках и кожаном фартуке, и терпела это до тех пор, пока ей в спину не позвали особенно жалобно, особенно тонко, детским голосом, и тогда она обернулась к стене, уперев руки в бока.

— Я не ваша мама, — сказала она громко, на весь коридор. — У меня рыба.

Пауза. Стена, кажется, растерялась. Голоса на миг сбились.

— У меня рыба на третьем причале, — сказала Кэрра, — и муж был мэйрук, и второй был мэйрук, и оба меня бросили, потому что я храплю, а детей у меня нет, потому что их ни у кого нет, и не смейте на меня так смотреть, вот. Ищите свою.

И пошла дальше. Лэйн Бэлл, хромавший рядом с ней в своей обмотке из её рубахи, хихикнул и сразу испугался и зажал рот, но стена не тронула его. Тавьер видел, что у Кэрры дрожат руки. Она сунула их в карманы фартука.

— Не отвечать, — сказал ей старик в одеяле, проходя мимо.

— Я не отвечала, — сказала Кэрра. — Я торговалась. Это другое. Птичка, скажи ему.

— Это другое, — сказала Ульма.

Хэлса остановилась на середине коридора.

Тавьер почти не замечал её до этого. Тихая эрна лет ста двадцати, прачка, как его мать, только с верхних прачечных, с Мыльной, с такими же красными, растрескавшимися от щёлока пальцами, с ногтями, вросшими в мякоть. Она шла всю дорогу в середине, ни с кем не говорила, ела свой хлеб отдельно, и на хэссе, когда все шли как дураки, шла как дура аккуратнее всех, спокойно, сосредоточенно, будто полоскала бельё. Тавьер думал, что она идёт за тархом для кого-нибудь. Все шли за тархом для кого-нибудь.

Она остановилась у стены, не дотрагиваясь, и стояла, наклонив голову, слушая.

— Хэлса, — сказал кто-то. — Хэлса, не стой.

Она подняла руку, не оборачиваясь: тихо. Она слушала одно «ма-ам» среди тысячи. Тавьер не знал, как она его различила. Он слышал только лестницу, бесконечную, по которой никто не может дойти. А она различила. Она стояла у одного лица в стене, молодого, мужского, совсем не сглаженного, с тёмными бровями и родинкой над губой, лежавшего на ладонь под поверхностью. Лицо открывало рот. Ма-ам.

— Двадцать лет, — сказала Хэлса. Голос у неё был ровный, как у человека, который много раз повторял про себя эти слова и теперь просто их читает. — Двадцать лет назад он пошёл в Гуррэн, чтобы мне был тарх. Я ему не велела. Он пошёл. Мэйрук сказал, его отдали стене на третьем ярусе. Я двадцать лет записывалась на допуск. — Она чуть-чуть улыбнулась. — Мне двадцать лет говорили: тётка, вам сто двадцать лет, куда вам. А в этом году Ойса Квелл подписала. Она спросила, зачем мне. Я сказала. Она подписала.

— Хэлса, — сказала Кэрра. — Хэлса, милая. Ты же не знаешь, он ли это. Они все одинаково зовут.

— Не одинаково, — сказала Хэлса.

Она подняла свою красную, растрескавшуюся руку и положила ладонь на стену, на щёку молодого лица с родинкой.

Стена приняла её не сразу. Сначала она просто стала мягче под ладонью, потом теплее, потом поверхность прогнулась, как прогибается подушка, и рука Хэлсы ушла в неё по запястье. Лицо в стене повернулось к ладони. Потёрлось о неё щекой. Тавьер видел это, сквозь тонкую, как кожица на молоке, поверхность: щека в стене прижалась к ладони, и рот открылся, и «ма-ам» из него стало другим. Без обиды. Только второй слог вниз, тихо, как выдох.

Кэрра шагнула к ней. Старик в одеяле перегородил ей дорогу своей палкой, молча.

— Иди, рыбница, — сказала Хэлса, не оборачиваясь. — Я дошла.

И шагнула в стену. Не упала. Шагнула, как шагают в тёплую воду, когда наконец решились, всем телом сразу, лицом вперёд, к нему. Стена сомкнулась над ней мягко, без звука. Тавьер видел её ещё несколько вдохов: она лежала в стене рядом с молодым лицом, щекой к щеке, и стена медленно, привычно, подтыкала её со всех сторон. Потом свет её стал таким же тусклым, как у всех. Потом её стало не отличить.

Двое голосов в стене в том месте звали теперь разное. Один «ма-ам». Другой короче, без второго слога. Тавьер не разобрал, что.

— Тридцать семь, — сказал кто-то сзади.

Его попросили замолчать.

Они шли дальше. Тавьер шёл и смотрел под ноги, потому что не мог смотреть на стены, и думал о том, что это неправда, что так не бывает, что она не могла узнать, что все зовут одинаково. Он думал о том, что Хэлса двадцать лет записывалась на допуск. Он думал о матери на табурете у окна, и о том, как она ни разу не сказала ему ни «не ходи», ни «иди». Он думал, что если бы он лежал в стене, он не знал бы, кого звать. Он думал, что знал бы.

Голос заговорил с ними там, где коридор поворачивал.

Не «ма-ам». Слова.

— Эй, — сказала стена слева. Голос был молодой, мужской, хрипловатый, такой, каким говорят парни с нижних улиц, когда хотят казаться старше. — Эй. Вы сверху? Вы с Тэмхи?

Все шли не останавливаясь, все смотрели вперёд, и никто не ответил, потому что старик в одеяле сказал: кто ответит, того позовут. Все, кроме Трэня.

— С Тэмхи, — сказал Трэнь. — С Кривой.

— Не отвечай, — сказал Тавьер.

— С Кривой? — Голос в стене оживился. Тавьер увидел его: лицо почти у самой поверхности, молодое, курносое, с оттопыренными ушами, которые стена ещё не успела сгладить, лет двадцать, не больше. — С Кривой? Ты чей?

— Бик. Ляр Бик.

— Мелкий Бик? — Лицо в стене расплылось в улыбке, и стена над ним натянулась. — Который орал? Который под окнами орал, и тётка Хоба его водой поливала? Ты?

Трэнь остановился. Тавьер дёрнул его за рукав, и он пошёл, но медленно, боком, лицом к стене, и стена с лицом плыла рядом, не отставая, как плывёт рядом с лодкой рыба.

— Я, — сказал Трэнь. — А ты кто?

— Лэтт. Лэтт Сэйвин, с угла, где пекарня. Не помнишь? Ну, ты мелкий был. Тебе было восемь, что ли. Я тебе свистульку вырезал. Из ивы. Ты в неё дул и всем мешал.

Трэнь шёл боком. Лицо у него было странное, Тавьер никогда его таким не видел: без шутки.

— Помню свистульку, — сказал Трэнь. — Тебя не помню. Свистульку помню. Я её потерял.

— Ну и правильно, — сказал Лэтт. — Она плохо свистела. Слушай. Слушай, Бик. Ты наверх пойдёшь?

— Я вниз иду.

— Ну, потом. Потом наверх. Победишь, тебя по Эмхарскому ходу выведут. Мне говорили. Слушай. Передай наверх. Дорну. Дорну Кейлу, который пекарь, на углу. Мы вместе шли, одиннадцать лет назад. Он меня тут оставил. Ну, не оставил. Я встал. Мне надо было, ну, я встал, а он пошёл. Он, наверно, думает. — Лицо в стене моргнуло, медленно, как моргают под водой. — Одиннадцать лет думает. Скажи ему, что я не злюсь.

Тавьер шёл рядом и держал Трэня за рукав и смотрел в пол, и пол был тёплый и мягкий, и уходил вниз.

— Скажи, что я не злюсь, — повторил Лэтт. — Скажи, пусть не думает. Мне тут нормально. Тут, знаешь, все поют, никто в ноты не попадает. Тебе бы тут понравилось. — Он засмеялся, и смех в стене был глухой, как из-под одеяла. — Скажешь?

— Дорн Кейл, — сказал Трэнь. — Это который пьёт?

— Пьёт?

— Ну, пекарь на углу. Он пьёт. Он одиннадцать лет пьёт, у него хлеб сырой в середине, вся Кривая знает, мы у него не берём. Он вечером сидит на ступеньках пекарни и смотрит в сторону шахты, и если к нему подойти, он говорит «отойди, ты мне свет загораживаешь», а там никакого света нет.

Лицо в стене долго молчало. Коридор поворачивал, и стена с лицом поворачивала вместе с ним.

— Скажи ему, — повторил Лэтт тихо.

— Скажу, — сказал Трэнь. — Не скажу. Спою. Встану под окном и спою, пока не выйдет. Он у меня выйдет. У меня все выходят, чтобы я замолчал.

— Ну и хорошо, — сказал Лэтт и закрыл глаза.

Стена повернула, лицо уплыло назад, и через десять шагов среди тысячи «ма-ам» Тавьер уже не мог различить, какое из них его.

Трэнь шёл рядом, и молчал, и это было хуже стены.

— Ты не должен был отвечать, — сказал наконец Тавьер.

— Знаю.

— Тебя могли позвать.

— Знаю. — Трэнь шмыгнул носом. — Не позвали же.

Через двести шагов он снова пел, вполголоса, «ни одной вверх», и Кэрра шикала на него, и Ульма шла рядом и улыбалась, и Тавьер думал, что всё, обошлось, и что надо было, наверное, тоже что-нибудь сказать Лэтту, и что он никогда никому ничего не говорит.

Перед самым выходом с яруса Тавьер сделал то, что делал всю жизнь.

Он не собирался. Он шёл, смотрел в пол, слушал лестницу. А у самой стены, у пола, где стена переходила в пол мягким валиком, лежала рука. Обычная, человеческая, мужская кисть, отдельная, крэнна. Видимо, отвалилась от кого-то из тех, кого стена укладывала, или от кого-то из них, тридцати семи, сегодня, сейчас. Рука лежала на мягком валике ладонью вверх и медленно сжималась и разжималась. Как дышит во сне.

Семнадцать лет Вурха Тенн учила его: подними. Не оставляй. Ничего не выбрасывай. Его руки сделали это сами. Он присел, протянул ладонь, медленно, снизу, как к чужой собаке, и в ту секунду, когда его пальцы коснулись чужих, стена под его правой ногой стала мягкой.

Нога ушла в неё по щиколотку. Сразу. Без звука, без рывка, мягко, как уходит нога в тёплое тесто. И стена сомкнулась вокруг сапога, плотно, со всех сторон, и потянула. Не сильно. Терпеливо. Как тянут к себе ребёнка, который не хочет ложиться спать.

Ма-ам, сказала стена у самого его уха.

Тавьер дёрнулся. Стена держала. Он рванул ногу, и стена подалась за ней и снова взяла, глубже, выше, по середину голени, и он почувствовал сквозь кожу сапога, как его ощупывают, как трогают щиколотку, бережно, всеми пальцами, как трогали каблук на хэссе. Только здесь это были не руки. Это была стена. Она знала, что делает. Она делала это сто сорок лет.

Кто-то кричал. Ульма кричала его имя. Кэрра схватила его за плечи. Стена тянула.

И тогда тело сделало то, что умело лучше всего. Он не решал. Он даже не подумал. Ступня внутри сапога сама сжалась, вытянулась, носок вниз, пятка вверх, и он вынул ногу из сапога, как вынимают руку из чужой ладони, тихо, одним движением, и отпустил.

Кэрра рухнула назад, на спину, с ним в руках. Он лежал на ней, на её двух куртках, босой на правую ногу, в мокром до колена шерстяном носке, и смотрел, как стена забирает его сапог. Старый, дырявый, со сбитым каблуком, тот, который он носил шесть лет и в котором обошёл каждую улицу Тэмхи. Стена втянула его медленно, подоткнула, разгладила. Под поверхностью, на палец в глубине, сапог лежал на боку, как спящий щенок. Рука, которую он хотел поднять, лежала рядом с ним. Ладонью вверх.

— Отпустил, — сказал Тавьер вслух. Он не знал, кому.

— Ну и правильно, — сказала Кэрра под ним, тяжело дыша. — Ну и молодец. Слезь с меня, тощий, ты мне всю рыбу в кармане раздавил.

Ульма стояла над ними. Она ничего не сказала. Она протянула ему руку, и он взял её, и встал, и на правой ноге у него был только мокрый носок, и в дырке на большом пальце виднелась кожа.

Сапог ему дал Сэнхар Тэнгорр.

Не сам. На ночёвке, у выхода с яруса, где коридор упирался в низкую каменную площадку, а за ней начиналась темнота четвёртого, один из его людей, тот, что пошире, подошёл к костру, молча поставил перед Тавьером один сапог, новый, чёрный, из толстой кожи, с гладкой, нетронутой подошвой, и так же молча ушёл. Тавьер смотрел на сапог и не трогал его.

Сэнхар сидел за ширмой, и свеча за ширмой горела. Его голос был ровный, вежливый, негромкий, и его было хорошо слышно.

— Это не подарок, — сказал Сэнхар. — Завтра четвёртый ярус. Там дверь. Говорят, её надо держать, пока проходят остальные. Говорят, крэннеры умеют держать то, что сжимается. — Пауза. — Мне нужно, чтобы вы были обуты, Ним.

Тавьер надел сапог. Он был ему впору, почти. Чуть свободен в пятке, чуть жёсток в подъёме. Подошва была гладкая, как стекло. Тавьер долго тёр её о камень, пока не стёр с неё блеск, и всё равно она была гладкая.

Кэрра храпела. Ульма спала. Трэнь не спал, лежал на спине и смотрел вверх, в темноту, и тихо, без голоса, шевелил губами: сочинял, наверное, второй куплет, а может, то, что споёт Дорну Кейлу под окном.

Лэйн Бэлл подсел к их костру поздно, когда угли уже почти погасли. Он подсел молча, обхватив руками колени, и Тавьер подумал, что ему просто холодно, у него одна нога в тряпке, и подвинулся. Бэлл долго смотрел назад, в коридор, откуда они пришли, туда, где тысяча голосов спускалась по бесконечной лестнице, ма-ам, ма-ам.

— Слушай, — сказал Бэлл. — Ты крэннер. Ты знаешь. За нами идёт старуха.

Тавьер не ответил.

— С самого входа идёт, по нашим следам, — сказал Бэлл. — Я утром видел, на хэссе, когда обернулся сверху. Ехала по рукам на тележке, и руки её несли. Как старика того несли, только к нам. А сейчас, вон, слышишь? — Он поднял палец.

Тавьер слушал. Ма-ам. Ма-ам. Лестница, по которой никто не может дойти. И под ней, далеко, наверху, в начале коридора, едва слышно, так тихо, что это мог быть стук собственного сердца, что-то железное раз за разом стукало о камень. Как колесо. Как колесо, которое скатывают по ступеням.

— У неё пять рук, — сказал Бэлл. — Я считал.

1

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.